

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Я никогда не видел своего деда Михаила Васильевича Нечаева. Он ушел из жизни в 48 лет в январе 1941-го от мучившей его с детства астмы. Поэтому мне так дорога эта его повесть. Она позволяет взглянуть на деда его собственными глазами, причем в возрасте, лишь немногим старше уже моих внуков.

Повесть написана в 1937–1939 годах, когда дед уже тяжело болел, о событиях его юности и молодости – 1910–1917 годах (в публикацию вошли лишь записки о событиях до 1912-го).

Это не книга воспоминаний и не дневник, хотя напоминает его по форме и использует дневниковые записи тех лет. Это исповедь юноши, мятущегося, ищущего свое место в жизни и испытывающего массу проблем из-за тяжелой болезни. Книга – повествование человека, который хочет быть полезным обществу и в итоге решает стать земским врачом, чтобы нести людям благо здоровья, культуры и просвещения. И Михаил поступил в итоге на медицинский факультет университета, окончить который помешала гражданская война.

Не хочу превращать предисловие в изложение содержания повести. Читайте! Помимо редкой возможности взглянуть на интереснейшее предреволюционное время глазами очень тонко чувствующего мир провинциального юноши, вы получите и подлинное удовольствие от сочного, яркого языка автора в описании человеческих характеров, в зарисовках купеческого и помещного быта и картинок природы.

В повести несколько основных линий – семья, любовь к отцу, романтические отношения с избранницей, гимназическое окружение и, наконец, уникальное описание самого времени. Приведу лишь один пример. Михаил рассказывает, как он и его друзья-гимназисты переживают за здоровье Л. Н. Толстого, ушедшего из Ясной Поляны и заболевшего в дороге. Они с волнением и тревогой ждут доставляемых вечерним поездом московских газет, выстраиваясь в очередь к единственному в маленькой Вязме газетному киоску. А после кончины Толстого устраивают не поминальный молебен, а гражданскую панихиду с чтением биографии писателя и очерка его литературной деятельности, обсуждением протестов Толстого против религии, солдатчины, войны. И завершают вечер пением «Вечная память» и неожиданно «Вы жертвою пали в борьбе роковой...».

Особая тема в повести – семья Нечаевых и их многочисленная родня. Позволю себе небольшой

экскурс. У истоков одной из семейных линий стоит впавший в царскую немилость и в итоге четвертованный бывший близкий соратник Петра I – боярин Кикин. Его боярской вотчиной было село Кикино Смоленской губернии, ставшее малой родиной деда. Одна из представительниц опальной и обедневшей боярской семьи Анастасия стала верной женой отца деда – Василия Петровича Нечаева, принесла в качестве приданого полуразрушенный дом в Кикино. Сам прадед был классический *self made man*. По семейному преданию, после смерти его отца многолетняя семья обнищала. Мать дала старшему сыну Васе гризеник и отправила завоевывать мир. Начав с мальчика на побегушках, прадед стал Юхновским купцом 2-й гильдии, а главное, уважаемым человеком. Построил первый каменный дом в том самом Кикино. Дом жив и по сию пору, и в нем много лет размещается школа. В. П. Нечаев был церковным старостой и на свои деньги построил один из приделов местной Архангельской церкви. Я рад, что односельчане ухаживают за могилой прадеда.

Родители деда были людьми глубоко религиозными и патриархальными. Образование детям дали хорошее, но увлечение деда музыкой и живописью считали блажью. Став в этой части самоучкой, Михаил Нечаев блестяще рисовал (с гордостью и радостью держу на стенах дома его работы), дружил со многими известными художниками и неплохо музицировал.

Ангелом-хранителем деда стала жена, первая и главная любовь его жизни Лидия (для него – Лидусенька) Герасимова – моя будущая бабушка. Так случилось, что сестра деда вышла замуж за брата отца бабушки, почему она в шутку называла своего мужа «дядюшкой». В записках – трогательная история их знакомства и зарождения чувства. Лидия помогала Мише с плохо дававшимся ему в гимназии немецким. Первая успешная проба своих сил на педагогическом поприще в итоге привела ее к профессии учителя. Она стала известным в СССР педагогом, заслуженным учителем РСФСР.

Дед тоже был всю жизнь преподавателем химии и совсем далек от писательского ремесла, но, несомненно, обладал литературным даром. Не хочу навязывать вам впечатление, но у меня на сценах тяжелой смерти его отца или припадков астмы юного Миши, когда он прощался с жизнью, на глаза наворачивались слезы.

Буду рад, если повесть найдет в вас благодарных читателей. Она того заслуживает.

Андрей Нечаев

у чугунной решетки лестницы большой валдайский колокол. Захлопали крышки парт. Стайками уходят из класса, сразу повеселевшие, оживленно беседуя. И только я, новый для этого класса – я второкурсник, – грубо оторванный от своих грез, выхожу из класса один. Я не знаю, куда себя деть в такой погожий день.

Пойду пока домой, а там видно будет.

Я жил недалеко от гимназии в тихом переулке, начинавшемся напротив парадного гимназии. Уездный город оканчивался в этом месте клином огородов.

Напротив одного из огородов был небольшой трехконный домик с небольшим двором, тенистым садом, с собакой Муратом, с котом Васькой, где я имел комнату со столом.

Я занимал крошечную комнатку, в которой еле уставлялись постель, маленький столик, корзина, табурет, да оставалось шага три прохода. Вся прелесть была в том, что я имел свою комнату, подобие письменного стола. Я пользовался здесь абсолютной свободой. Моя хозяйка видела во мне взрослого человека, у которого на плечах «своя голова». Я это очень ценил и всегда оправдывал доверие.

После обеда я очутился у раскрытого в сад окна. Погода стояла удивительная! После двухдневного похолодания и дождей вернулось летнее, немного грустное, тихое тепло. Деревья еле тронулись золотом. Везде была какая-то особенная тишина, какая бывает только в уездных городах после обеда.

Преддверие осени...

Городской сад был невелик, тенист. На средней главной аллее сбоку стояла раковина-эстрада, два раза в неделю играл военный оркестр. На музыку собиралась публика и ходила по аллеям сплошной толпой, подымая пыль.

Был буфет. На тех, кто сидел в буфете, смотрели с завистью, а те, кто пользовались его благами, оглядывали проходящих мимо небрежно-бездушно и даже нагло сияли.

Бывал в саду и я. Удовольствий в городе было мало: кинематограф (электротheater) – 30 коп. и сад – 10 коп. Ясно, что в саду бывал чаще.

Как-никак послушаешь музыку, встретишься со своими ребятами, знакомыми гимназистками. Всякий раз, когда идешь в сад, думаешь, что случится чудо, что ты встретишься с кем-нибудь, кто станет твоим другом, твоей любимой, но... Но ведь для этого не нужно было стесняться, нужно было быть общительным, не «лазить в карман за словом».

Когда я пришел в сад, то гулянье было уже в разгаре. Играли какой-то вальс. Я сразу же наткнулся на своего одноклассника, и мы затерялись в толпе.

– Ты выписал слова по-латыни? Сегодня трудный урок. Я еле разобрался. После лета как-то с удовольствием учишь уроки. Между прочим, я тебя видел на вокзале. Куда это ты ходил?

– За город. Я люблю бывать за городом.

– Нашел место!

Мы замолчали. Интересы у нас были разные. К нам присоединились еще гимназисты, и мы свернули в боковую аллею, где и уселись на свободной лавочке.

– Ребята, не видали моей Катеньки? Ух, и будет мне сегодня!

– Поаккуратней курите! Здесь математик ходит.

– До чего ж не хочется начинать заниматься! Опять на целый год заводится волынка.

– Да, жизнь не сказать, чтобы...

А мимо сплошной толпой шла публика. Я машинально слушал разговоры. Вот идут две вяземские мешаночки, лет по 18. Они оживлены.

– Знаешь, вот тут оборочка (показывает мизинчиком), а там воланчик. Ну, прямо восхищение!

Их сменяет парочка: она дочь купца, дорого и безвкусно одетая, он – купчик в котелке, с тросточкой, весь сияет.

– Я бы на месте извозчицей лошади упал перед вами на колени! Ха-ха-ха!

Проходит акцизный чиновник с геморроидальным лицом со своей дебелой супругой. Оба чем-то довольны.

– Сверху разоделась фу-ты ну-ты, а небось белье в дырах, – ядовито бормочет она, сверкая глазами.

Идут два офицера.

– Ну, дал я ему 30 вперед. Взял свой киек и давай устраивать разгонную – дюжины две пивка осушили.

Две гимназистки взволнованно объясняются.

– А я ему и говорю, почему я должна уступить? Нет, ты скажи, почему?

Скука. Из нашей компании двое уходят пить пиво, остальные – гулять, и около меня остается один Веня.

– Ну как, Михайла? Идем домой, что ли. Скука здесь. Дома хоть почитать можно.

– Нет, я посижу, послушаю музыку.

– Ну, как хочешь. Заходи.

Веня – мой сосед и человек, к которому я привык, с которым мы часто ходим за город и о многом беседуем.

Он ушел. Уже стемнело.

– Миша, здравствуйте! Пойдемте с нами.

Я не успел опомниться, даже вздрогнул слегка. Меня подхватили Вера и Катя. Вера, высокая брюнетка с японским лицом, разговорчивая, трескучая, начала меня осыпать вопросами.

– Как лето прошло? Занятия вовсю? А у нас уже сочинение задали. Не достанете ли мне пособие? Вот автора-то забыла! Ну, я напишу тогда. Что поделяете, что читаете? Где пропадаете?

– Сегодня я был за городом, – сказал я. – Если бы вы знали, как там красиво сейчас, как тихо.

– А вы куда ходили? – спокойным контральто спросила Катя, полная блондинка с карими глазами на круглом красивом лице, с тяжелыми косами.

– По железной дороге, к Панину. Ведь скоро осень. Кое-где желтые листья, как седые волосы.

– Э, да вы поэт! – подхватила Вера.

– Ну, что вы, – смутился я. – Это я так просто...

– Давайте-ка все вместе прогуляемся за город, – предложила Катя.

– Почему мы живем так разрозненно, – вскипела Вера. – Нет того, чтобы собраться вместе, почитать, поспорить, послушать музыку, потанцевать. Вон как в других городах. А то все врозь и врозь. Давайте организуем какой-нибудь кружок.

Мысль хорошая, нам она понравилась, и мы решили ее обсудить как следует.

Веру и Катю отозвали от меня, и я снова остался один. С завистью посмотрел я им вслед. «Чуда» не совершилось. Надо идти домой.

Городская библиотека помещалась на главной улице. Она – мой друг. Именно там я познакомился с Шопенгауэром, Геккелем, Дейгем, Кропоткиным, Айхенвальдом, Ивановым-Разумником, Горьким, Куприным, Арцыбашевым и многими другими открывавшими мне глаза на мир. Сколько бессонных ночей я провел за чтением Гарина, Короленко, Горького, Вересаева, Андреева, Бунина, Зайцева, сборников «Знание». Раз в неделю я появлялся в низкой большой комнате, разделенной проволочной решеткой, как в винной лавке. Роюсь в абонементе, выписываешь себе книги и берешь. Меня заметили и считали самым аккуратным и «большим» читателем. Давали иногда книги, не занесенные еще в абонемент.

А я читал, и мой кругозор расширялся. Моя молодая память удерживала в себе целые эпохи, сцены, абзацы. Я знал, что значит Островский, Мельников-Печерский, Мамин-Сибиряк, Потапенко, Салтыков, Успенский. Я знал, где черпать материал о купечестве, о разночинцах, о дворянстве. О революции.

И ко всему этому у меня было какое-то свое отношение.

Тихо спуют за проволочной сеткой между полками книг в войлочных туфлях библиотекаря...

Верстах в пяти от города находилась Алферовская учительская семинария. Состав учащихся в ней был разнообразный. Здесь были и такие, которым в свое время не улыбнулась жизнь. Были и такие, которые пошли на учебу, ясно отдавая себе отчет в этой работе, которая предстояла им впереди на трудной «ниве просвещения». Среди них были такие, которые знали, что нужно нести «в народ».

Естественно, что среди алферовцев существовали нелегальные кружки, иногда из их среды арестовывали одного-двух.

Однажды Венья сказал мне, что у него будут гости – алферовцы, и пригласил меня. Был вечер, когда я зашел к нему. У него были двое, которые при моем появлении замолчали.

– Это – свой! – заметил Венья.

Разговор шел о настроениях среди гимназистов и о возможности организации среди них кружка по развитию самосознания.

– Руководить таким кружком не будет никто. Мы только дадим вам программу, ну и книги, если вы их не достанете. Пусть лучше их будет меньше, но зато эти люди должны быть проверенными.

– Место собрания обязательно нужно менять и объявлять о нем перед самым собранием.

Пили чай, горячо беседовали, с загоревшимися глазами. Почувствовали какую-то спайку. Когда алферовцы уходили, то долго трясли руки и договорились, что Венья и я через недельку придем к ним со списком членов кружка и их характеристиками.

Когда я ушел от Вени, то долго думал над этим делом. Мне чудилось, что я приступаю к чему-то огромному.

В следующее воскресенье стояла золотая осень. После раннего обеда мы отправились к алферовцам. Они очень радушно нас приняли. Мы ходили гулять, получили от них отпечатанную на гектографе программу, нас снабдили букетами цветов и долго провозжали.

Следующие дни принесли нам тревогу. Инспектор гимназии, встретив меня, строго сказал: «Но я знаю, что ты был в Алферовской семинарии. Не приведет это к добру. Чтобы ты больше, слышишь, туда не ходил!»

Я был удивлен. Откуда он знал, что я там был? Я сказал об этом Вени, и мы вспомнили, что нас обогнал на извозчике один из общих с нашей гимназией

учителей. По-видимому, он и донес. Мы решили держаться себя осторожно.

Еще через пару дней стало известно, что среди алферовцев были обыски и аресты и что арестован один из наших знакомых.

Мы решили подождать с кружком, пока все успокоится.

Дали домашнее сочинение: Онегин и Печорин. Впервые сознательно, по-своему, я запоем писал его. Для меня ясен был образ «лишнего человека» на фоне русской действительности. Горел, когда писал. С нетерпением ждал его выдачи.

Преподавателем по русскому у нас был странный человек, носивший кличку Сапожник. Грубоватая внешность, сизый нос, фельдфебельские усы, рыжие волосы сжигали. Кроме учрежденных учебников, ничего не признавал.

Вот и выдача. Рецензия: «Автор не знаком с Саводником. Поменьше умничания, побольше внимания урокам».

Оценка двойка. Точно ушат с помоями вылили. Я ушел в свою скорлупу и хотя по-прежнему много читал по литературе и критику, в дальнейшем пользовался только Саводником.

А попутно развивалось другое. Математику у нас преподавал Иван Федорович (Шпонька!). Рассеянный, рыжеватый, беззлобный человек, про которого у нас ходили анекдоты. Он пришел раз в гимназию без сюртука, утирал меловой тряпкой нос... Предметом он владел в совершенстве и часто в уме решал сложные задачи, приводя класс в неистовство.

Была дана классная работа по алгебре: решение задачи с объяснением. Когда выдавали письменную, Иван Федорович сделал вступление:

– Самая лучшая работа, господа, – это работа Нечаева.

Класс остолбенел. Иван Федорович пел мне хвалебный гимн, а я сидел точно в тумане.

Скоро я сделался, благодаря маленькому поощрению, хорошим математиком, к крайнему удовольствию моих «камчадалов».

Точно выросли вдруг у меня крылья, точно почувствовал я вдруг в себе силу. И странно было видеть в четвертных отметках среди круглых троек (а то и двоек – история и немецкий) пятерку по математике.

В домовй гимназической церкви идет всенощная. Как ни борется гимназическое начальство за обязательное посещение служб (свободы завоеванной с 1905 года), многих старшекласников нет.

Я пою в хоре. По обыкновению, в перерывах или думаешь о чем-либо, или вполголоса разговариваешь с соседями, пока не получишь замечания от регента.

Идут ирмосы. Следующие, басы, начинают с верхнего «до». Мне показалось, что регент, Иван Васильевич Коротков, смотря через синие очки, взмахнул камертоном, и я ОДИН в сравнительной тишине церкви гаркнул... и смолк. Лунообразное, изрытое оспой лицо Ивана Васильевича побагровело:

– Ты что, ошалел, что ли?

Вокруг меня хохочут в кулак до слез, до потери сознания. Стоит сдержанный хохот и в рядах. Смущенно закрывает рот директор.

После всенощной встречает меня «бать» (о. Мишаил) и спрашивает шутливо:

–Ты что ж, Миша, обоснулся малость?

Строчки из дневника.

Сентябрь 14.

Вся жизнь скучная-скучная... Сегодня туман. Дышится трудно. Люди все хмурые, злые и я злой. На душе такой же туман...

Я так одинок... Мне хочется чего-то большого, светлого, а дают маленькое, грязное, пошлое.

Мои ребята в восьмом классе. Встречаемся, но между мной и ими чувствуется какое-то охлаждение. У них свои интересы, которыми я жить не могу, не понимая их. Новых товарищей я не подобрал. Один только Веня меня не бросает, спасибо ему.

После долгого молчания с оказией прислали из дома письмо. В нем пишут исключительно о деле, да печалются о моих успехах. Странно, что этим дело и оканчивается. Интересов общих у нас нет. Мои «переживания» их не касаются. Блажь!

Брат в университете. Как он там, какое у него настроение, чем он живет – не знаю. Его коротенькая открытка содержит такие факты, которые меня не интересуют (был там-то, видел того-то)...

Преподавал физику и заведовал физическим кабинетом бесцветный преподаватель П. Физику знал плохо, аппаратуру и того хуже, к тому же был и неаккуратен. Опыт он не любил; они у него не удавались.

Гимназисты на опыты шли как на балаган.

Физический кабинет, довольно богатый, занимал две смежные комнаты: в одной хранились инструменты, другая служила аудиторией.

Нас изредка «гоняли на опыты». Мало сидели тихо, обычно занимались своими делами. А сзади всегда

была компания, которая рассказывала друг другу анекдоты, и оттуда несло сдержанное ржание.

На этот раз ставились опыты по теплоте. Первый раз нужно было зажечь прекрасную спиртовую лампу Бартеля с металлическим, гнущимся по желанию, шлангом. Лампа упрямылась и наконец с легким взрывом зажглась. П. отпрыгнул, потом зачем-то отвернулся, а шланг и зацепился у него сзади за сюртук. Нам видно, что это не опасно. П. очень испугался и кричит, как зарезанный:

– Отцепите лампу! Отцепите лампу!

Его зачем-то схватили, обняли, чуть не повалили, издевались над ним всячески и наконец отпустили. На этом опыты и кончились...

Шурка Л. носился по всей гимназии и всем, захлебываясь, рассказывал:

– У П. к ж... лампа Бартеля прилипла!

В конце октября месяца 1910 года все газеты вдруг сообщили об уходе Л.Н. Толстого из Ясной Поляны. Это было для многих неожиданно.

Сначала неизвестно было, куда он ушел. Газетные писаки начали свистопляску: одни говорили, что Толстой не выдержал и уехал каяться, другие писали, что Толстой обанкротился в своих философских взглядах... Потом неожиданно стало известно, что Толстой на ст. Астахово и очень болен...

Все, кому дорого было имя Толстого в нашем городке, терпеливо ждали экстренных выпусков газет, прибывавших из Москвы по глубоким вечерам с курьерским поездом.

Газетный киоск стоял около городского сада. От него вилась очередь человек в 50. Улица была пуста. Кой-где освещались витрины магазинов. Было тихо, и только изредка тарактелла извозчичья пролетка.

По небу неслись рваные осенние облака. Лист сыпался, и деревья сада голы. Дул резкий ветер. Я стоял в очереди, дрожал и думал «что-то там?»...

Именно в это время сформировался наш кружок. Штудировали Геккеля «мировые загадки». Не все серьезно относились к делу. Широкоплечий К. часто моргал, глаза у него слипались, хотелось спать. П., когда дело доходило до «полового» вопроса, вдруг неистово начинал ухмыляться и ржать. Все же чтение продолжалось, сознание будилось. Думали перейти после Геккеля на политические темы и руководителем хотели пригласить кого-то из депо.

В это-то время умер Толстой.

Мы решили отметить его смерть гражданской панихидой.

Достали портрет Толстого. Украсили его красными и черными лентами и повесили на стене. Стройный, белообрый К. прочел его биографию, я – общий очерк его литературной деятельности. О его философских взглядах говорили вскользь, напирая главным образом на его протесты против религии, солдатчины, войны и т. д. Нам Толстой именно этим и был дорог.

После строгих докладов мы торжественно встали, обернулись к портрету и запели «Вечную память». По обыкновению, К. и П. стало смешно, но строгий взгляд Вени привел их к порядку.

А после, постояв тихо, совсем неожиданно запели: «Вы жертвою пали в борьбе роковой...»

Осенью начиналась серия вечеров, проводившихся в зале женской гимназии: это общий вечер мужской гимназии, то женской, то восьмиклассники «прощались», то восьмиклассницы...

Вечера эти оживляли нашу скучную жизнь, внесли разнообразие. Готовились к ним заранее: чистишься, одеваешься, причесьваешься. Задолго до начала появляешься в женской гимназии. Там еще уборка идет после занятий.

Я обычно был участником оркестра балалаечников, где я прошел все стадии. Давным-давно настроен инструмент, а ты все пробуешь его, хотя и знаешь, что он чуть не полмесяца держит строй.

Мы – участники концертного отделения, собираемся в классе около эстрады. Мы видим, как зал постепенно наполняется, оживляется. В первом ряду «цвет» нашего городка. Волнуешься.

Начинается концерт. Номера следуют по программе. Вот и наша очередь. Впереди многоглазый зал. Кажется, что все смотрят на тебя. Стараешься всю...

Концерт окончен. Сейчас начнутся танцы. Этим временем – таков был обычай – гимназистки старших классов (если это их вечер) устраивали в складчину чай и угощали всех, кого они желали угостить. Для меня именно эти минуты были жуткими. Я старался прицепиться к кому-нибудь и завести оживленный разговор, и в то же время, казалось, что я настолько чужд моим коллегам, что они могут забыть про меня.

Но вот к тебе мчатся в развешиваемых нарядных коричневых платьях твои друзья. Сердце падает. Я краснею.

– Миша, милый, идемте! А мы-то ищем вас!

Я извиняюсь перед товарищем, и меня под руки торжественно ведут в свой класс. А там пир горой. Тут и преподаватели, и родители. Меня торжественно усаживают, за мной ухаживают, на мне

останавливаются столько милых глаз... Может быть, произойдет «чудо»?

Ожидают танцев. Вот-вот начнется вальс. И когда мы входили в зал, дрогнули вдруг огни ламп, и раздался торжественно вальс. Сразу образовалась цепочка.

– Ну что ж, начнем?

В руках ласковая девичья рука. Под другой рукой талия. Несемся с Верой крупными кругами – она так любит. Легко кружимся, перебрасываемся незначительными (а может быть, и значительными) фразами.

Льются звуки. Дрожат огни. Сияют тебе навстречу загадочные глаза-звезды...

И так проходит бал. Скоро конец. Кого проводить? Может быть, кататься поедом. Вот П.З. говорит что-то и указывает глазами на меня. Вот летят ко мне навстречу две Веры...

У именитых по городу купцов С. был домашний вечер. Ставили своими силами водевиль. Предполагались танцы.

Я был приглашен туда. Сперва я было отказался, а потом пошел.

Я был обласкан «самим» и «самой». Они знали и уважали моего отца. «Сам» усадил меня чай пить с собой. Я чувствовал себя не особенно удобно.

– Как Василий-то Петрович поживает?

– Благодарю вас, ничего.

– Ох, голова большая! Знакомы с ним. Вон моя егюза. Прошу быть знакомы.

Егоза – его дочь Глафира. Это была крупная девушка кустодиевского склада, с какими-то зелеными глазами.

Я смутился, когда она прямо и серьезно глянула на меня. Глафира завладела мной на весь вечер.

«Сам» сказал:

– Ну, вот тебе и кавалер, Василия Петровича сынок. Хорошей семьи! Да...

– Я вас никогда не встречал.

– Я нигде не бываю. Учусь я дома. Папа к знакомым очень разборчив. У нас почти никто не бывает.

Завязался разговор. Он прошел с пятое на десятое. Оба мы узнавали друг друга. Глафира как-то жадно спрашивала обо всем: о гимназии, о моем времяпрепровождении, о любимых книгах.

Спрашивал ее и я. Узнал, что она любит Бетховена (сама играет), любит Чехова, Л. Толстого. Любит природу, одиночество, свои думы.

Она привела меня в свою комнату. Я видел перед собой ее русское круглое лицо, большие косы, слышал ее спокойный низкий голос.

– У меня почти нет товарищей. Я как-то все один. Мне все кажется, что я могу быть лишним. –

Я смутился. Почему это я вдруг начал человеку, которого впервые вижу, выкладывать себя.

– Да, я понимаю это, – как-то задумчиво сказала она.

Из зала доносились звуки рояля, там танцевали. Пошли и мы.

– Как я рада, что мы встретились! Теперь вы будете бывать у нас, мы будем много говорить, мы будем ездить с вами к нам на дачу. Я знаю, что папа ничего, против обыкновения, не будет иметь против.

Я чувствовал ее, державшую себя с таким достоинством и в то же время такую для меня нужную.

«Что это? То, чего я желал в своей жизни? Чудо?» – думалось мне.

Я глядел на нее. Видел ее зеленые глаза и отводил свои. Она это замечала, отворачивалась, еле заметно вздыхала.

Был ужин. Мы сидели рядом. «Сами» покровительственно глядели на нас. Мне было неудобно.

...Нужно было поддерживать знакомство с Глафирой. Я уже грезил ею, будущим. Идти же к ним мне казалось неудобным. А время шло. То вдруг я собирался, одевался и сейчас же остывал. А вдруг меня спросят «что вам угодно?». Ведь могли же позабыть про меня. Не Глафира, нет, а ее родители. И визит откладывался.

И когда я, встретив ее случайно на улице, обрадовался ей, радостно поклонился, готовый бежать к ней, то в ответ получил еле заметный гордый кивок.

И сразу что-то заняло внутри. Я почувствовал, что Глафира ждала, потом расценила по-своему нашу встречу и ушла от меня навсегда...

Некоторые гимназисты давали уроки: одни по соображениям материального характера, другие рекомендовались преподавателями, как лучшие ученики.

У меня личных денег почти никогда не было. Старшие дома считали, что это баловство. Из-за каких-нибудь рубля-двух велась нескончаемая переписка, и наконец присылали с оказией, если это нужно было на книги, фуражку и пр. Если деньги просились на театр, на карточки (иногда мы снимались с преподавателями), то отказывалось.

Такое положение было обидным, ставило меня в неловкое положение перед товарищами, и мое самолюбие очень при этом страдало. Я решил взять урок.

Он вскоре представился; нужно было репетиторствовать с сыновьями аптекаря К. Оба они были в младших классах. Занимался я с ними ежедневно по два часа и получал за это 11 рублей в месяц. Я относился к делу серьезно, и мальчики, оба серьезные и славные, сделали за первый месяц большие успехи.

С какой радостью я получил первые свои и такие большие деньги – три трешницы и два по рублю! Они часто по вечерам вытаскивались из заветной коробочки, и начинались мечты, что купить...

Когда дома узнали, что я даю уроки, прислали письмо с намеком, чтобы я помогал, но я послал им письмо и тоже с намеком, из которого вытекало, что я могу и, пожалуй, совсем не прочь жить самостоятельно со всеми вытекающими отсюда последствиями. И дома замолчали.

Так как мои ученики в конце второго месяца получили четверки, то от урока мне было отказано. На заработанные деньги я бывал в театре, купил акварельные краски, рамки для карточек на стол, коробку почтовой бумаги. Деньги таяли.

В это время мне предложили другой урок, длительный, до конца года. Нужно было репетировать двух девочек у одной вдовы-портняжки. Я взял его, хотя ходить туда было очень далеко, через весь город.

Особенно мучительно были эти путешествия в сильные морозы. Идешь и ног не чувствуешь; они окоченели и звонко стучат. Стучат и галоши, и кости... Мороз лют. Дым вьется вверх. Захватывает дыхание. Шинель не греет. Руки окоченели.

Каким раем кажется точка пребывания в комнатах. Вдова, Агния Петровна, жалела меня, часто угощала чаем. Она после урока старалась поговорить со мной. Я привык к ней.

Сидишь и смотришь, как склонилась над шитьем ее русая голова, как быстро мелькают ее красивые полные руки.

– Жизнь-то прожить, Миша, не поле перейти. Мой-то покойный муженек попилвал здорово. Бывало, под пьяную руку и мне колотушек надает, да и ребятам. Вот по-вашему как ладно выходит: и дружба, и любовь, и согласие. А в жизни-то, думается, и не встречается этого.

– Ну, а тогда и сходится нечего, – горячо говорю я. Агния Петровна поднимает на меня свои лукавые глаза и раздражается искренним смехом. На розовых щеках у ней ямочки.

– Ну, какой вы глупенький! Совсем несмыслота!

Она меня обескураживает своим смехом. Я сержусь.

– Что ж, по-вашему, наплевать можно! Проповедь Толстого о непротвлении злу только усыпляет человеческое достоинство. Ведь так вот и получаются рабы...

Она перебивает меня. Горячо перебивает.

– Дома-то у родителей тож не сладко жилось. Да и скука. А тут что-то новое. Тож ведь жить хоте-

лось. А вы говорите, какое-то непротвление злу. Нас не спрашивали, хочешь ли ты идти замуж, а вот тебе муж, да и с богом: стерпится – слюбится.

Что с ней разговаривать – не стоит. Я умоляю. Собираюсь уходить. Она подает мне ласково свою руку и, кладя работу на стол, идет меня провожать.

Однажды была сильная метель. Я уж думал не ходить на урок, но потом пошел. Она всплеснула руками, увидев меня.

– Ну, не сумасшедший ли вы, Миша! Ну зачем же вы пришли в такую погоду. Замерз небось...

Захлопотала с самоваром, а я начал заниматься с девочками.

– Я вас не отпущу назад. Вы останетесь ночевать у нас.

Мне представился обратный путь, и, пожалуй, я был рад остаться.

Пришла ее подруга-соседка, бойкая бабенка, которую я иногда видел у них.

– Ты его с собой положи! Соскучилась небось! – смеясь, сказала соседка.

Меня резнула эта фраза и взволновала. Но Агния Петровна после урока напоила нас всех чаем, была как всегда приветлива и задумчива. Это успокоило меня. После чая я все-таки пытался уходить, но меня удержала Агния Петровна.

– Простудитесь! Смотрите, ни зги не видно. А я уступлю вам свою кровать. Узнаете мои душшки. – И она коварно улыбнулась.

Я ушел домой...

В городок приехала драматическая труппа. Ставили: «Дни нашей жизни», «Дети Ванюшина», «На дне», «Анфису». Я бывал на всех спектаклях. Передо мной открывался новый мир, который заставлял меня переоценивать ценности.

Деньги таяли. Отдалялась и моя мечта о приобретении хорошего охотничьего ружья.

Строчки из дневника.

Декабрь 9.

Нет, это возмутительно. Новый проректор запретил курить, круто восстанавливает дисциплину и т. д. Скоро сортир забьют совсем! Это черт знает что такое! Кажется, хочет устроить обязательное хождение в церковь. Дудочки-с!...

Снова ввели форму. Завоеванные в 1905 году «свободы» отбирали одну за другой. Запретили носить широкие пояса, черные брюки. Расставались со скандалами.

У меня были темно-серые брюки. Издали они производили впечатление черных.

Однажды меня встречает новый директор.

– Вам нужно переменить брюки!

– Почему?

– Потому что они черные!

– Нет, они серые!

– А я говорю, черные!

– Нет, серые!

Меня пригласили в директорский кабинет, поставили перед окном стул, на стул меня и тщательно рассматривали мои брюки. Они оказались серыми.

Меня с каким-то неопределенным бормотанием отпустили. Я гордо вышел из кабинета.

Вот и рождественские каникулы! Я забыл все недоразумения с домашними и с восторгом ехал домой, в село Кикино.

Я слишком ждал этого, слишком волновался и когда с поезда подъезжал по хорошо знакомой дороге к селу, я знал, что астмы мне не избежать: чувствовалась не предвещавшая ничего хорошего тоска, похолодели ноги, дыхание стало каким-то свистящим. Казалось, что в этом виноваты валенки, тулуп, меховая шапка. Это они меня душили, стесняли.

Я слегка распахнулся и закурил. Стало как будто легче. В это время лошади брали перед въездом михалевскую гору. По бокам чернели елочки и голая земля в обрыве.

Вот оно, Кикино! Я жадно вглядывался во все. Подымалась где-то внутри радость, но она не могла победить тоски...

Вот крыльцо, встреча, радость домашних! Горячий чай растопил холод ног, свистящего дыхания нет, и я хорошо несколько раз откашлянулся.

– Как же поживают М.? Что бабушка?

– Всё также, здоровы, кланяются. Ну, а у нас что нового?

– А что ж? Да ничего... Вот зима нынче снежная.

– Кто у мамы на именинах будет?

– Да всё те же. Должен приехать Михаил Александрович (зять). Придет брат Николай, Ефросиния Дмитриевна (акушерка). Ну, а больше-то никого звать не будем.

Я оглядываю родных. Папа и брат в только что прибывшей почте. Мне хочется переговорить с братом о Москве, об университете. Вот сестры, вот мама, тетушка! Как давно я вас не видел. Серый кот, мурлыча, трется о мои ноги, подняв хвост трубой.

Мама ни с того ни с сего потрогает, тепло ли я одет.

– Тепло, право, тепло, мама!

– Смотри не простудись!

– Что-то ты вроде похудел, – замечает тетушка.

– А ты вот займись Мишуткой, – веско говорит отец. Мама рассказывает:

– Послезавтра думаем баню. И уборку верха. Низ в сочельник уберем.

Чай отпили. Я и Сергей идем наверх. Плохо, что коридор холодный. Да и сортир... От печи жарко, а снизу дует.

– Расскажи же про университет. Как там, что?

– А что ж про него рассказывать! Я редко там бываю. Все есть в книгах. Я тебе не писал про своего нового приятеля А. Н.? Во, брат, парень-то!

И брат начал рассказывать, как они увлекаются выжиганием, французской борьбой. Рассказывал, что к ним ходят две хорошенькие гимназистки...

Да... Это не то! Какие-то мы разные.

Снова что-то запало внутри, снова свистящее дыхание.

Собирают ужин. Я уговариваю себя поменьше есть. Все наши в Филипповке едят постное, а для меня вареная солонина, студень, хрен, каша с молоком. Я ем понемногу.

Мама трогает мою голову своей шершавой рукой и говорит:

– Ай, ты нездоров?

Кладут спать меня наверху в темной комнате. Там жарче и очень мягко. Проснулся в 6 часов утра с приступом астмы. Хочется откашлянуться, но кашель мучителен и еще больше осложняет дыхание. Немного болит голова. Теперь я все равно не засну...

Именины мамы проходят торжественно. Вечером обычные мамини гости. Приехал из Румянцева зять Михаил Александрович.

Эту ночь я не сплю уже с часу. Во мне все хрипит, стонет. На лбу холодный пот. Голова тяжелая и ломит. Все мышцы ооченели. Одеревенели и похолодели ноги. Я сажусь, укрываю плечи одеялом. Тянется бесконечно время, и дыхание все трудней и трудней. Начинает теряться представление о времени. Я исключительно в своих страданиях. Дышать порой так тяжело, что мне хочется метаться.

Мое сердце слабо и часто колотится. Обычно я его не ощущаю, а сейчас... Вот оно.

Шея одеревенела. Больно локтям, опершимся на колени, больно и коленям. Пронизывает холод всего меня.

Вот сорвался с ритма, закашлялся, заметался, захрипел и посинел. Вытянул руки вперед, встал. Там, выше, думается легче. Мне страшно. Что это – конец?

Только теперь заметил, что уже ночь. Разговаривают о том, что я очень плох. Послали за доктором. Ждут священника. Принесли из церкви икону Серафима Саровского. Никто не спит...

Мне трудно. Я еле сдерживаю свои страдания. Так снова хочется метаться. Я забылся...

Меня причащают. Я безучастно гляжу на всё, крещусь. Что ж: конец так конец! Мне все равно теперь. Ни одной мысли в голове, только мои страдания...

Снова плохо. Снова начал метаться. Подумал, что поскорей бы смерть...

– Давайте вприснем морфий. Это последнее средство, – говорит доктор.

Помчались в больницу. Ночь глухая. Вижу около себя шприц. Еле слышна боль укола.

Ах, как хочется спать! Как все одеревенело. Как хорошо вытянуться и заснуть. Но спать невозможно. Я задремал. Снова очнулся. Я слабым голосом, медленно попросил придвинуть к себе стол и дать мне маленькую подушку.

Приятно... Засыпаю... Я не знаю, сколько я так сплю. Дыхание много легче. Снова засыпаю. Я слышу, как во сне меня перекалдывают на диван как следует, вытягивают ноги, тепло укрывают. Я хочу протестовать, но очень удобно телу, оно отдыхает, одеревенение и холод куда-то отступают. Я глубоко вздыхаю и крепко-крепко засыпаю...

Теперь мое дыхание свободно. Я наслаждаюсь сном и сплю, сплю. Будить меня доктор не приказал. Меня вырвали из приступа злейшей астмы...

Когда 23 декабря утром с именин мамы отъехал Михаил Александрович, нехотя пошел снег. К вечеру он разошелся, а ночью закрутил как следует.

Вторые сутки свирепствует метель. Сугробы вырастали на глазах. Теряется представление, где низ, где верх. Проезжих нет.

Завтра Рождество. В доме идут торопливые приготовления. Тетушка с Авдотьей хлопочут на кухне: поджаривают ногу телянка, опаливают гусей, запекают окорок под коркой из черного теста.

К Авдотье приступу нет – опара не подходит. Она знает, что ругаться в сочельник не полагается, но... – У, пралик тебя задери! – Это она на опару.

Кучер Исай Иванович носит воду. По двору ходить – что по полю: снег ровень с крышами.

Когда он пошел за водой в последний раз и вернулся, воды в кадке не оказалось. Он смутился и даже потрогал обручи. Не потекла ли кадка? Нет, на полу сухо, обручи целы.

– Ну-ну! – пробормотал он, закуривая и покачивая головой.

Наверху наводился последний лоск. Расстелились для чая и закусок белые, слегка подкрахмаленные скатерти. Расставлялась чайная посуда, накладывалось варенье и пр.

На закусочном столе горкой возвышались тарелки, стояла целая выставка водок, настоек, вин, горчицы, солонки, перечницы. Лежали чинно ножи, вилки, салфетки.

В зале в углу под образами поставили трехногий столик с белой салфеткой. На нем маленький подсвечник с восковой свечой, ладанница. Это для завтрашнего молебна.

Во всех комнатах лампы зажжены.

К четырем часам начинает смеркаться, и верх наполняется лиловыми сумерками. Наивно разноцветно светятся лампы. Везде свежо, тепло, уютно и изобильно.

Пришел грузный о. Иосиф с одышкой, пожаловался на «собачью» погоду и прямо приступил к делу.

- Христос рождается, славьте!..
- Рождество твое, Христос боже наш...
- Дево днесь...

Эти простые, с детства знакомые песнопения создают ощущение праздника. Он наступает бездумно, радостно, с ожиданиями чего-то необъяснимо-сладостного, что волнует, подбадривает. Астма моя миновала.

Когда стемнело, то садятся в прихожей обедать. Не ели «до звезды»! Старшие, садясь, глядят с верой в окно и истово крестятся.

С детства знакома эта легенда. В Вифлееме родился в пещере маленький Христос. Волхвы с дарами пришли ему поклониться. Путь им указывала звезда, скользившая перед ними по небу. Сонмы ангелов славили его рождение. Я лез маленький на диван, смотрел в уголок на замершие окна, видел большую звезду. Она, по-моему, и была «вифлеемской». Я тихо слезал и благоговейно напевал: «Слава в вышних Богу...»

На первое подали тюрю (квас с редькой и конопляным маслом), потом грибной суп без масла и каша с «сытой» (мед, разведенный на кипяченой воде).

Я ходил на спевку. Когда пришел, то приехали с «почты». Выпустили совсем замершего в башлыке, плохо одетого Алексея Хомяка-почтаря. Как он ездит в такую погоду!

Алексей снял сумку и представил ее в мое распоряжение. Ему поднесли водки, дали хлеба, огурцов и рубль деньгами.

Я быстро разбираю почту. Вот «Русское слово», вот «Нива», «Современный мир». Целая серия писем, открыток, визитных карточек.

Алексей уходит. Сообщаются новости.

- Мана и Андрей Андреевич приедут через Румянцево за день до Нового года. Все живы и здоровы.
- Румянцевские поздравляют с праздниками и сообщают, что за мной на второй день пришлют лошадей...

У меня свои новости. Вот пишет Коля А. Скучает, не знает, куда себя деть. Целая куча поздравлений от товарищей и товарок. Но все это официальное. Нет ничего сердечного, кроме письма Коли А.

Звонят к утрени. Я иду в церковь. Нога вязнет в пушистом холодном снеге. В церкви много народу, кашляют, сморкаются, вздыхают. Постепенно она все больше расцветивается огнями.

Служба идет торжественно. Хор вступает с «Ныне отпускаеши...». Праздничны лица крестьян. Всклощенные обычно волосы сейчас уложены и смазаны маслом. Шеи утопают в шарфах, в новых дубленых полшубках, в тулупах. А как сияют глаза!

К концу службы как будто в окна немного светлеет. Чувствуется усталость от бессонной ночи, жара, духота. Дремлется...

Внизу в столовой ярко горит «молния», по праздничному показывая сервировку стола.

Толпами приходят «славить» ребятишки. Они, задыхаясь, еле выговаривая, спешат:

*Рождество твое, Христос Боже наш,
Возсиями развет разума
В нем бо звездам служащи
И звездой овчачуся...*

Моя мама, глубоко верующий человек, стоит в беленьком платочке и крестится. Ребят одевают медными деньгами.

Наряднейший Исая Иванович вносит фырчащий самовар и всех поздравляет хриплым голосом с праздником.

Все чинно усаживаются за стол. Подается пирог с мясом, наливается чай, и начинаются разговоры:

- Что-то служба скоро кончилась!
- Да ведь отец Иван служил!
- Всегда летит, пес его знает! А куда торопится, – вставляет тетушка, ковыляя к чайному столу, держась за стуль.
- Пейте, пейте, а то скоро попы придут!

На второй день Рождества, часам к десяти, заехал за мной румянцевский староста Никита Михайлов. Он приезжал к отцу на праздник в деревню, которая от нас недалеко.

То, что приезжал он на хозяйской лошади и, следовательно, пользовался доверием, очень ему импонировало!

А лошадь была Абрамка, вечно жеребая белая кобыла. Эти «абрамки» не переводились в Румянцеве: от одной рождалась другая, от другой – третья и т. д. Отличительными их чертами были: отвислая губа, большой живот, белая (сивая) шерсть, трудолюбие, неприхотливость, но в то же время и жадность на корм и... покорность судьбе. Рыси у них не было никакой, но и на горку не станет.

Михалыча я дождался. В Румянцево на елку собиралась своя молодежь: было весело, катались, гуляли, ставили домашние спектакли. Было бесхитростно и привольно. Меня там любили. Едва ли не главным было то, что там меня считали за взрослого, выслушивали серьезно мои рассуждения, возражали мне как равному. А это было приятно!

Никита Михайлович торопил меня. Нужно было доехать «завидно». И вот, одетый в тулуп, валенки, меховую шапку и рукавицы, я усаживаюсь на мягкое сено в маленькие санки, обминаю его, ноги заворачиваются полостью, и мы трогаемся.

Едем мы долго. Разговоры наши кончаются около Куприянова, до Позднякова передумаешь обо всем и знатно подремлешь. Вспомнишь гимназию, товарищей, дом, обсудишь свою жизнь...

Дышишь чистым воздухом, видишь унылую равнину с редкими перелесками. Дует поземка; если бы не вешки, то и дороги не заметно было.

Изредка встречи. По случаю праздников едут в гости в нарядах, обязательно с Ванятками и Маньками, у которых видно только пуговка-нос. Сопровождает лохматая собачонка.

А ехать еще далеко.

- Ну, а как Михайла Иванович?
- Ничего живет. Тут как-то сороку убил из берданки. Далеко взяла. Он все такой же. Вроде за Настькой приударяет.
- За какой Настькой?
- Да из Никуленок, за Курначихиной дочкой. В дойках она. Да... Вот какие дела-то...

Опять замолкаем и едем, едем.

Вот наконец Александрина сторожка. Нас с лаем встречает гончий старый пес Добор. Сам Евсеич, тип старого доезжачего, мой спутник по летней охоте, стоит с трубочкой на крыльце и приветливо здоровается.

– Василич! Зайцы одолели!

Где-то во дворе визжит поросенок, видно, его кормят.

принца. А царевна увидела его треп (так в рукописи. – *Прим. ред.*), бросилась к нему, и слезинка, чистая, большая слезинка упала из ее глаз. Ей нельзя было плакать. Не стало больше царевны, и вместо нее поднялась красивая белая лилия.

Прочла и задумалась. Красивая сказка. Грустная, плакать хочется. Откинулась на стуле и чувствую, что вся дрожу. Это было со мной первый раз в жизни. М. заметил это и встревоженно спросил, что со мной. Я не могла сказать, да это и не нужно было, так как М., кажется, догадывался. Вышло объяснение. Я не верила этому и откровенно сказала. Тогда М. встал, серьезно задумался и глухо сказал:

- Так я... уйду. Прощай! – и направился к дверям.

- Миша, вернись, я верю! Я...

Миша бросился назад, стал на колени и разрыдался. Плакала и я, глядя его голову.

- Да, да, я счастлива, я верю...

Как близок и дорог стал он мне...

С каким-то отчаянием я выхожу из дому, в котором осталась Л. Вон у ней свет в комнате. Воротиться разве? Постоял и пошел на вокзал.

Чудо свершилось, но обстоятельства гонят меня от моего счастья, от моей милой девушки... Я устал от всех переживаний последних дней, мне надо обдумать случившееся, надо поверить, что все это произошло не во сне. Надо поверить, что произошло не чудо, а быть...

Мчится скорый поезд от моей девушки. Я перешел из душного вагона на площадку. Сзади мягко маячит в тумане красный огонек заднего вагона, впереди над паровозом полыхает зарево, а мимо бегут пятна грязного водянистого снега и проталин. Как странно! Нас разделяет шестьдесят километров... Зачем это? Почему мы не можем быть вместе? Что это, судьба?

Начался Великий пост. Без пятнадцати минут девять раздастся оглушительный звонок. Нужно идти на молитву.

Отворяются громадные двери домового гимназической церкви, и она быстро наполняется гимназистами всех возрастов и дежурным начальством. На левом клиросе хор. Как всегда, поют «Царь небесной», «Преподобный Господи».

А вот и новое. На амвон входит дежурный старшеклассник и отчетливо читает:

- Господи, владыкя живота моего...

Это значит: скоро весна, воля... Опускаются на колени.

- Ей, Господи, царю даруяй...

Снова расходятся по классам. Снова звонок. У кафедры дежурный класс гудит. Начинается день – «косой» понедельник.

Уроки идут томительно долго и скучно. Те же скучные лица преподавателей. Все судорожно позевывают и смотрят на часы. Кой-где беседы вполголоса о весело проведенной масленице.

Я сижу, гляжу в окно, и в мыслях мое счастье. Я боюсь его анализировать. Я только ощущаю его. Ощущаю и еще раз переживаю, как все случилось. А случилось как-то неожиданно...

- Ну, вы дальше, – говорит полная француженка, обращаясь ко мне.

- Что дальше? – недоумеваю, спрашиваю я.

- Переведите дальше...

- А где остановились?

- Вы же так пристально по книге следили. Сами должны знать!

Я следил по книге? Я был мыслями в Румянцеве! Я вспоминал свою дорогую девушку!

- Я не могу. У меня голова болит. – Я сел.

- Странно...

Я снова вижу ее, брызжущую весельем, остроумную, задорную, в то же время тихо-ласковую, любящую возиться с детьми...

Звонок. Конец.

После обеда «с грибами и изюмом» я не знаю, куда деть себя. Мне не сидится. Мне нужно куда-то идти, нужно вспоминать. Мое счастье слишком велико, широко! Я – не один!

На улицах тот же туман, капли. Они меня теперь не беспокоят. Наоборот, я как будто другими глазами гляжу на природу. Я чувствую, что наступает весна. И это ощущение, давно забытое, так гармонирует с основным моим настроением. Мне легко. Мне хочется куда-то бежать, петь...

Я не знаю, как очутился в соборе. Шли мои любимые покаянные мимеофоны Андрея Критского. Народа было мало, и это не мешало мне слушать службу и думать, думать...

Старичок-священник в черной ризе тихо, печально и просто говорит:

- Ты еси пастырь добрый. Ты еси создатель мой, и в тебе, Спасе, оправдалося!

- Помилуй мя, Боже, помилуй мя! – печальными аккордами вторит большой хор, согреваемый октавой.

Хрупкие звуки тают под куполом, где уже все затянута сумерками. Я буду беречь мою девушку. Я ей дам много-много счастья!

Я тебя как царевну украшу!

Я сокровищ достану тебе без конца.

Жемчугами твоей стан опоясу

И чело твое радостным блеском венца!

– Ты еси сладким Иисусе и мне заблудшему, яко Петру, руку прости!

– Помилуй мя, Боже, помилуй мя!

За окном гаснет день. Что-то она сейчас делает?

Думает ли обо мне? Вспоминает ли?

Судьба свела двух одиноких, двух так тяжело переживавших это одиночество, совершенно своеобразными путями раскрывшихся навстречу друг другу, порой друг от друга так далеко отходивших, что трудно было думать о том, что произошло.

В полумраке светилось мне лицо моей девушки. Лицо, которое меня вчера провожало: немного удивленное, грустное. В глазах дрожало столько нежности! Одна слезинка, маленькая, незаметная, ползла по раскрасневшей щеке. Предстояла первая разлука. Разлука, когда мы даже наговориться толком не могли...

– Так что, господин, церковь сейчас затворять будем.

Я вздрогнул. Передо мной стоял высокий сторож собора. Служба кончилась. Никого не было в соборе. Свечи потушены. Только в алтаре слышны неясные голоса.

Я тихо направляюсь к выходу. Я осторожно, бережно, через весь город несущи внутри свое счастье домой, чтобы дома за письменным столиком сказать далекой девушке о нем, тихом, большом, неожиданном!..

В старших классах классным надзирателем был Евгений Степанович В.

Маленького роста, всегда опрятно и добротнo одетый, с чистым носовым платком, подстриженный, он производил вполне порядочное, не в пример прочим халдеям впечатление. Красивы были его глаза черные, лучистые, с лаской. Для того чтобы быть выше, он носил непомерно большие каблуки, и это было его слабым местом.

Темные, слегка непокорные волосы, усы и борода придавали ему задумчивый вид.

Про свое прошлое он говорил глухо. Говорил, что он был офицером одного из аристократических гвардейских полков, откуда пришлось уйти из-за какой-то истории. Этому можно было верить, так как он хорошо знал быт военных, знал массу анекдотов, имел хорошие манеры и знал, скверно произнося, французский язык. Во всяком случае «на прапорщика армейского» он не был похож.

Между нами, старшеклассниками-гимназистами, и им установились товарищеские отношения. Мы

сразу поняли, что он любил прямоту и не терпел лести.

Время нажима и репрессии давало себя чувствовать, и в нашем маленьком мирке частенько созревали протесты. Евг. Степ. понимал нас! Он никогда не лез на рожон, хотя и мог бы.

Курили мы в сортире. Бывало за окнами неуютно, а в нашем клубе весело и тепло потрескивают дрова в камине. Стоишь задом, греешь руки, куришь и думаешь про свое. Идет нудный урок где-то! Вдруг скрипит дверь. Видна голова Евг. Степ. Он, конечно, видит, что ты куришь. И никогда не делает замечания.

– Что же не идете на занятия?

– Я сейчас!

И все.

Доходило дело до того, что некоторые ребята, не шокируя его, просили у него папиросы, и он давал.

По долгу своей службы он должен был посещать вольные гимназические квартиры. Об этих посещениях он всегда предупреждал. Посещения превращались в интересные беседы. Собирались ребята, и Евг. Степ. много рассказывал из жизни военных.

Однажды был такой случай. Были именины у кого-то из ребят. Здорово выпили и когда разошлись, одного порядком развезло. Провожать его никто не стал, и он пошел один. Сперва он шел весело, говорил сам с собой, орал песни. В это время он пробирался глухими переулками. Выйдя на Калужскую, он вдруг ослаб, расстегнул пальто и, держась за заборы, еле-еле переставлял ноги. Было поздно, и ночь была видная.

В таком-то состоянии на него набрел Евг. Степ. Он пришел в ужас. Гимназист в таком виде! На одной из главных улиц!

Последовал диалог:

– Вы откуда?

– А-а-а! Евг. Степ., здорово!

– Откуда вы в таком виде?

– А с именин. Вот (тяжелый вздох) ослаб, дойти не могу.

– Вы знаете, какой вы подвергаетесь опасности?

А если бы вы с кем-нибудь встретились?

– Ну-у! Какой дурак так поздно пойдет!

Евг. Степ. решил больше не разговаривать, а, подвергая и себя, и его опасности, довел «этого идиота» до дома и начальству об этом случае ничего не сказал.

Однажды у нашего класса шла пикировка с французенкой. Мы ее даже из класса выгнали. Несмотря на все ухищрения администрации, конфликт ликвидировать не удавалось, – мы не хотели просить

извинения у взбалмошной бабы. Мы даже устроили «бенефис» Евг. Степ., и, когда он гневный, взволнованный, дергаясь лицом от обиды, начал нам кричать: «Мальчишки! Вы не умеете ценить хорошего к вам отношения» и т. д., то класс молча выслушал. Встал наш делегат и тихо сказал:

– Евг. Степ., вы напрасно принимаете это на свой счет. Это протест против режима и тех, кто его поддерживает. Лично к вам, вы знаете, как мы относимся, и вы напрасно обижаетесь.

Евг. Степ. внимательно выслушал, подумал, махнул рукой и во все время конфликта (а дело дошло до округа) не входил к нам в класс, а стоял в коридоре и ничего не доносил директору. Никто не знал, что говорилось на нашем собрании.

Мы это очень ценили.

Я сижу в 7-м классе повторно. Все мои близкие друзья стали очень далекими. У них свои интересы, они озабочены окончанием гимназии, готовятся к выпускным экзаменам и хотя при встрече со мной очень приветливы и радушны, но все же чувствуется, что они живут своими заботами, для меня непонятными.

Правда, среди нового состава, к которому я присмотрелся, были ребята, с которыми я чувствовал себя хорошо, а тому же были и второгодники вроде меня. Большая же часть класса для меня была непонятна.

Среди них была аристократия – с хорошими манерами, всегда шикарно одетая, с белоснежными воротничками и манжетами. Они со школьной скамьи готовили себя то в Лицей, то в Институт восточных языков. Откуда-то к ним проникал душок этих учебных заведений.

Была бесцветная прослойка, жившая сегодняшним днем, без интересов, тусклая, серенькая, как стертый двугривенный.

Несколько человек первых учеников держались «богами», к которым не было доступа, и все свои слова они ценили на вес золота.

Внеклассное свое время я, таким образом, убивал у соседа своего, ушедшего вперед от меня, Вени К., и своих одноклассников Миши Ж., Семена Пр.

Уже несколько лет подряд Вени К. живет у дряхлых старушек-сестер. Были они когда-то замужем: у одной фамилия Тычкина, у другой – Неверова. Обе бывшие гоголевские чиновницы, нюхают табак. Маленькие, кругленькие, розовенькие, с мутными старческими голубыми глазами. Они очень любили преферанс по вечерам, и частенько, сидя у Вени, я слышал, как одна из них восклицает:

– И пять без одной!

С Веней мы готовились в Специальное учебное заведение по математике и физике. Его мечтой была Петровская сельхозакадемия, моей – путейский институт (Гарин виноват!). С Веней мы говорили о дружбе, о политике, о гимназии, о товарищах, о любви... Веня терпеть не мог попов, полиции и начальства. Суждения свои высказывал прямолинейно и грубо и пользовался уважением среди товарищей. Скрытный, со мной он был откровенен.

Сын богатых лесопромышленников, он имел деньги, но костюмы его, даже для вечеров, были просты. На ногах сапоги, топорщащиеся брюки, серая рубашка, широкий пояс.

Соседом его по комнате был гимназист 6-го класса Ванька «Здыркин», сын мельника. Было в его наружности что-то важное, квадратное. Ходил он слегка прихрамывая, с палочкой, жаловался на ревматизм. Ваня старался быть умным и оригинальным. Частенько его можно было видеть с книгами по философии. Постучав по ней ногтем, он с пафосом, своим красивым баском, встряхнув шевелюрой, говорил:

– Вот книга-то! Читал?

И уничтожающе смотрел на собеседника, чувствовавшего себя неловко.

Любил Ваня и поговорить, причем в споре вставлял изречения вроде «Не станет карлик выше оттого, что Голиаф был прадедом его» (Ибсен).

Себя причислял к нигилистам, был поклонником Ницше, а в политике склонялся к анархистам.

Однажды он начитался Арцыбашева «У последней черты». Начал восхвалять его героев, которые, очертя голову, звали к наслаждениям жизнью.

– Половым, добавь! – вставлял Ваня.

Герои звали после наслаждения к уходу из жизни. Ваня говорил, что «У последней черты» должна быть настольной книгой каждого здравомыслящего человека, его евангелием.

Мы убеждали его, что он проповедует абсурд. В жизни есть борьба, проистекающая из неравенства. Лучшие умы – революционеры по разному подходят к разрешению этой проблемы. Особенно глубоко и дельно развивают свои положения марксисты. Ваня слышать ничего не хотел, твердил как попугай, свое: жизнь мерзка. Личные наслаждения только в вине и женщине, а остальное жалеть нечего... Уходить надо, друзья, в небитие!

Веня серьезно обращается тогда к нему:

– Почему ты не начнешь с себя? По твоим рассказам, ты баб знал много, пожил, наслаждался. Ну и баста!

– Ну, видишь ли, я не обладаю таким сильным характером, чтобы самому покончить с собой.

– Да, вон что! Боишься?

– Не боюсь, а не могу. Понял?

– Так-так. Давай тогда я сделаю это.

Ваня бледнеет. Веня решителен. У него нож охотничий – медвежатник; он вытащил его и, хмуро любясь им, говорит:

– Сделаем так. Ты пиши записку, что в смерти прошишь никого не винить. Чего ради тебя кто-то будет отвечать! Мы идем с тобой в лес «Заказ», и там я тебя ухлопаю. Хоть и ничего ты парень, но надо же помочь тебе. Слова с делом не расходятся! Бледный Ваня начал бормотать что-то невразумительное, нечленораздельное, руки и ноги тряслись. Тогда Веня решительно и даже грубо сказал:

– Так вон что! Трус ты; мелкий, жалкий трус. Чтобы ты в нашем присутствии никогда больше не молол этой галиматии. А если услышу, что ты еще где-нибудь «проповедуешь», то расскажу все как было! Понял? И убирай свое «евангелие» ко всем чертям! Арцыбашев исчез. Ваня ходил хмурый и с нами почти не разговаривал, отчего мы не особенно страдали.

Шла весна. Готовились к экзаменам. Моя девушка писала, что она в отчаянии: на носу выпускные, а она устала и совсем не может заниматься. Письма ее вообще были неровные. То она была ласкова и любяще писала о многом, то вдруг появлялись мрачные нотки, письма были лаконичные, и этим она доставляла много неприятностей. Я старался, как мог, ее утешить, сам невольно заражаясь ее пессимизмом.

Утро страстной субботы. Служба идет в «настоящей» церкви. Служат соборно у плащаницы посреди церкви. Плащаница благоухает розовым маслом. Около подсвечник со множеством горящих свечей. Песнопения чередуются со чтением о жизни и учении Христа. Служба торжественна, величавая, грустна и заставляет задуматься о бренности людской.

Я, как всегда, на хорах. Оттуда, в перерывах между песнопениями, смотришь на толпу вниз. Задумаешься, и тогда двоится в глазах. Моя девушка прислала мне поздравительное, большое, волнуемое письмо. Зовет к себе! Соскучилась...

Вдруг под хорами столб дыма, пламя, смятение, свалка. Кого-то поднимают, кто-то охает, но служба бесстрастно идет своим чередом. Пахнет сильно жжеными перьями.

Дело оказывается, в том, что моя двоюродная сестра Мария Николаевна, человек весьма рассеянный, задумалась и зажгла свечой, которую держала в руках, свое боа. Боа вспыхнуло. Ее начали тушить, сби-

ли с ног, повалили, катали по полу и, когда затушили, то была Мария Николаевна вся в грязи и жалкая.

Так и пошла домой...

С Пасхой, думалось, кончилась хорошая погода! В тот день и вечер, когда я, украдкой от своих, был у своей девушки, так по весеннему все развернулось кругом, что загорели лица, дурманом наполнились головы, ко сну клонило.

Я видел своего друга, вволю наговорился с ней, держа ее, такие дорогие, руки в своих...

И вот снова разлука, снова неприятности... Дома что-то нехорошее с отцом, в гимназии была письменная работа по немецкому, от которой я не жду ничего хорошего (а она решающая!)...

Пошел дождик со снегом...

Небо свинцовое... Небо холодное...

Дни без уюта, тепла.

Доля свободная, доля отрадная

В даль без возврата ушла...

Небо угрюмое... Мрак заливающий

Горечь души мою,

Сердце раскрыть бы хоть в песне рыдающей

Юность оплакать свою.

Крепко обнять бы родную, любимую

В ласках всю боль потерять,

Жизнь одинокую, жизнь нелюдимую

Всю ее, всю рассказать!

А. Винсон

Из дневника 26 апреля

Снова настала хорошая погода, вернулась весна. Вовсю шли экзамены.

Ждали солнечного затмения. У меня был день подготовки к математике, которую я знал великолепно. Вопреки всем традициям, я уехал на этот день домой, и затмение мы наблюдали в саду около бани. Туда же вывели и больного отца. Он был плох.

Была безветренная погода, парило, но ему, одетому по-зимнему, было холодно. Отец был недоволен этим и попросил себя отвести в дом. По-видимому, течение болезни было серьезно, что всех нас опечалило.

К вечернему поезду отвезли меня на станцию. Настроение у меня грустное.

Угасал день. В воздухе стало свежеть. Загорелись звезды. На платформе я встретил Наташу Е. Она радостно поздоровалась со мной, и мы пошли по платформе. Она была одета по-домашнему. Видно было бумазейное ласковое платье. На голову был накинута белая пушистая платок.

С участием взглянули на меня ее простые глаза.

– Чего вы сегодня такой грустный?

– Много причин, Наташа. Папа очень болен. М.б., сегодня он был последний раз в саду, им взращенном, любимом. Подумайте, последний... А кругом весна, жизнь, теплынь, его любимые пчелы жужжат. Ему вроде все это не нужно теперь, может быть, даже больно. Ужасно жить и чувствовать, что есть что-то внутри, что тебя ежеминутно заставляет прислушиваться к себе и ждать...

Кругом, посмотрите: заря, вот-вот оденется лес, травка, весенний холодок! Ведь это молодость! Такая, как вы! Вы в своем интимном костюме, благоухающая по-девичьи, в полном рассвете всех ваших хороших сил, здоровья... Вы подумайте, Наташа, как это ужасно...

Шли мы под руку. Слегка прижавшись ко мне, наклонясь вперед, она молча слушала.

Действительно, от нее веяло чем-то свежим, теплым, успокаивающим и то же время грустным. Тепло было от ласковой бумазейки, вязаного платка, грусть была во влажных живых глазах, в задумчивом бесхитростном профиле.

Она не утешала меня, как обычно водится в таких случаях. Она просто и молча слушала, всем своим существом сочувствуя мне.

Подходил поезд. Со вторым звонком я вскочил на площадку вагона, и скоро поезд медленно тронулся. – Приезжайте, когда вам будет тяжело! – застенчиво крикнула Наташа.

И долго, пока поезд не скрылся за поворотом, стояла одинокая, глядя мне вслед и думая о чем-то моем.

Через Солдатскую слободу шел за город. Встретил Дашу С. около ее дома. По обыкновению, стала обо всем расспрашивать.

Она, очевидно, стирала, т.к. руки ее были красны, рукава блузы закатаны по локоть.

Она тихонько, в шаг со мной, пошла. Очень огорчилась болезнью папы, моими плохими успехами по немецкому. Мы прошли прудик. Невольно мне бросились в глаза ворота, густо смазанные дегтем, – чья-то месть девушкам, живущим в этом доме.

Вышло как-то так, что я начал рассказывать Даше один случай из своей жизни, который характеризовал любовь ко мне отца.

– Мне было лет 10–11. Тогда моей мечтой было ружье – Монте-Кристо, которое я видел у Богдановых – и даже стрелял из него, и фотоаппарат размером 4 1/2x6. 0 большем я не мечтал. Если бы все это купить, то нужно было бы рублей 17–20. Их, конечно, у меня не было, и мечты оставались

мечтами. В то же лето я особенно часто бывал в бараночной, которая находилась у нас в подвальном помещении. Я любил смотреть на то, как деляют баранки, как их пекут. Там я поверял свои заветные мечты.

И вот однажды хозяин бараночной собирался в ближайший город Вязьму. Шутя, а быть может, серьезно сказал мне:

– Доставай денег, привезу! Будет тебе и ружье и аппарат.

Мечты мои загорелись ярче. Где достать денег? Попросить у родителей – не дадут.

Я был как-то в лавке. У нас там есть полки, на которых стоит варенье. Под этими полками – сундук и на сундуке, я раз обратил внимание, жестяной ящик от монпансье. Он не был прикрыт и в нем лежал холщовый мешок. Я знал, что в таких мешках держали деньги. Там оказалось и золото, и кредитки, – много денег. Меня ударило в жар. Вот бы взять 20 рублей! Только 20 рублей... Но я не взял, хотя мысль об этих деньгах глубоко засела. Во сне я стрелял из ружья, снился фотоаппарат. Я рано просыпался и грезил этими вещами. Я стал, как больной.

– Ну, завтра еду! – сообщил мне бараночник.

И вот в этот-то вечер я не совладал с собой. Я взял оттуда 20 рублей и трясущимися руками передал их бараночнику. Я – вор... Мне казалось, что за мной следят. Я часто беспричинно вспыхивал, вздрагивал, когда ко мне обращались. Испытывал ужасные муки и, если бы можно, я положил бы эти деньги обратно. А в то же время я ждал возвращения бараночника. Как бы я пользовался этими вещами?

Приехал бараночник, ничего мне не привез, да еще и денег не отдал. Пригрозил, что скажет отцу. Что я тогда переживал. Моя душа с яркими мечтаниями была оплевана.

Началось вымогательство. Неси, мол, еще денег. А то скажем отцу. И я носил, носил неоднократно. Носил с каким-то тупым терпением.

Однажды мать хватилась этого ящика. Обнаружилась недостача денег, не было больше 200 рублей.

– Василий Петрович, ты брал деньги из ящика?

– Нет, что ты.

– Нет денег-то, посмотри!

Проверили, ужаснулись. Деньги были большие по тому времени и церковные. Кто же взял?

Я заметил, что дома что-то неладно. Упал духом, и мне было нехорошо. Я предпочитал не жить.

Однажды меня зовет в лавку мать. Вот и все! – подумалось мне. Ноги мои ослабели. Внутри была пустота. Выступил пот. Я пошел.

– Ты брал отсюда деньги?

– Брал... – потупился я.

– Куда ты их дел?

Я все рассказывал, как было. На меня пока не обратили внимание. Пошли к бараночнику. Хотели привлечь его за вымогательство, но он, испугавшись, отдал почти все деньги. Родители были рады такому исходу дела и вот теперь-то обратили внимание на меня. А я ждал правосудия и ходил сам не свой. Что тогда переживала моя маленькая душонка?

Даша взволнованно пожала мою руку. Я закурил папиросу. Воспоминания были слишком сильны. Я огляделся. Мы были за городом. День клонился к вечеру.

– Снова меня вызвали. Я знал, что будут драть. Об этом особенно настаивала мать. Я вошел в лавку. Около стойки стоял отец. Он был взволнован.

– Что же ты наделал, сынок? – Губы его дрогнули, и он заплакал.

Я кинулся к нему в ноги с воплем. Точно меня прорвало. Я долго носил свое горе, оно стало мне не по силам.

– Простите меня! Простите! Я не могу больше...

Я не знаю даже, что после было. Когда я очнулся, то я сидел на ящике из-под чая. Судорожно всхлипывал.

– Иди, – сказал мне отец.

Начались ужасные дни. Все знали, что я – вор. Я всех чуждался. Все мои детские радости отошли куда-то, и я целыми днями сидел где-нибудь, ничего не делал, тупо уставившись в землю.

Мое состояние заметили. Относились к этому по-разному.

– Мишутка нехорош! – говорил отец.

– Так ему и надо, подлецу! – восклицала мать.

Отец посмотрел на дело иначе. Он видел, как меня угнетает этот проступок. Он знал, что должна быть разрядка. Как человек верующий, он затеял поездку в Великополье. Там, говорили, была чудотворная икона. Кстати, был Пост. Решили там говеть. И вот запрягли лошадей в линейку и отправились: он, я, Елена, Серафима, Вера Андреевна и, кажется, Шура. Взяли с собой продовольствия. Ехали тихо. Отец и я шли пешком. Он старался меня ободрить. Говорил, чтобы я «поисповедовался», покаялся перед Богом в своем грехе. Я его слушал, и во мне росла какая-то надежда, что не все еще потеряно, что, может быть, жить и можно.

К вечеру приехали. Село было живописно. Погода была хорошая. Я устал. Остановились мы на постоялом дворе. Стали пить чай. Отец ушел к священнику. Я по-прежнему был один, как зверек, чуждался

своих. Думал, что я всю душу свою выложу завтра на исповеди и вымолю прощение. Ночь спал плохо. Мешали думы и муки. Утро было цветистое, свежее. Звонки разносился благовест. Мы пошли в церковь. Мне показали икону. Она была небольшая, стояла налево, украшенная добровольными подношениями, вся в лампадах.

Я стал в уголок и по-своему, по-детски горячо молился.

Между утренней и обедней всех нас исповедовали. Отец как-то так устроил, что я был последним, и в церкви никого не было. С каким страхом я подошел к аналою. Я искренне, как только мог, рассказал священнику все-все, со всеми подробностями. Я старался не плакать, но голос мой дрожал, и невольные слезы ползли по лицу. Я растирал их своими худыми руками.

Началось обедня. Я снова молился. Молился ли когда-нибудь еще с такой «верой». Пропели «херувимскую», «Милость мира». Приближалось причащение.

Когда священник вышел с чашей и начал говорить «Вечери твои тайные...», мои глаза затуманились слезами. Я сложил руки на груди и чуть не вслух сказал:

– Господи, прости меня!

Вот и причащение. Я отхожу. Меня встречает радостно отец.

– Ну, поздравляю тебя! Телу на здоровье, душе на спасение!

И тут снова меня прорвало. Точно я от всего молчания и тоски последних дней старался освободиться. Слезы хлынули из моих глаз. Я уткнулся в белую рубашку отца и плакал, плакал. Я чувствовал, что это были слезы облегчения. Я чувствовал, что моя тяжесть куда-то исчезает. Я чувствовал, как меня гладит бережно по голове отцова рука. В раскрытое окно, около которого мы стояли, вливалась в храм утренняя бодрость, и слышно было ласковое пение какой-то пичужки.

– Ну, успокойся, будет, – твердил отец.

И я затих.

Тотчас же мы и уехали. На обратной дороге я повеселел. Я даже раз по-прежнему крикнул, рассмеялся, чего давно со мной не было. Я иногда соскакивал и бежал рядом с лошадьми.

Я был спасен. Отец ласково следил за мной и был все время очень ко мне внимателен.

У Даши на глазах блестели слезинки, она была взволнована.

– Какой хороший у вас отец! И как жаль, что он серьезно болен. Он поправится.

Прошли экзамены. Результаты их были для меня неутешительны. У меня переэкзаменовка по немецкому. С упавшим настроением я уехал домой.

Домашние просили меня не говорить отцу об этом.

Я получил письма от ребят, окончивших гимназию. Колька А. ликовал. Не мог раньше написать, так как не было денег на марку. Гришка Г. писал: «Победа в руках, но теперь она не кажется мне победой, настроение мое сумрачное, уезжаю в Высокое».

Моя девушка кончила с золотой медалью и прислала буйное, солнечное письмо.

А у меня была зависть к ним. Зависть и обида...

Настало лето. Потянулись дни ничегонедельничия. Сначала они не были тягостными, так как почему-то хотелось сидеть, ни о чем не думать, созерцать все вокруг, и этого казалось достаточно. Но когда организм отдохнул, появилось желание что-то делать.

Тихо было дома. Другой раз, проходя по дому, не встретишь никого. Там, наверху, лежал обреченный папа. Около него и день и ночь находилась мама. А внизу были раскрыты окна, заставленные марлевыми сетками от мух.

Проходя кухней, ощущал запах печеного хлеба, какого-то варева в печи.

Наш летний престольный праздник в этом году прошел в нашем доме тихо, хотя гости и съехались. В селе было как всегда: ярмарка, карусели, гулянья, драки. Гости считали, с одной стороны, себя обязанными оказывать постоянное внимание больному отцу и делать вид, что ничего серьезного нет, с другой стороны, сидя за чайным столом в зале, куда временно была переведена столовая из-за болезни папы, держались тихо, уныло и разговоры велись вяло и вполголоса.

Старались не говорить о неизбежном, и только одна мать, горя религиозным фанатизмом, говорила о приближающейся смерти своего мужа как о роке, которого не избежишь.

Как раз перед праздником приезжала его младшая сестра, монахиня Анатолия, из Каширского монастыря, в миру Александра. Пребывая в монастыре с молодости и до старости, она решила принять схиму, совершенно отрешиться от мира и приехала в последний раз повидаться со своими дорогими близкими родственниками.

Тяжелое это было свидание. И папа, и она знали, что видят друг друга в последний раз... Когда ей нужно было уезжать, она с утра ушла к нему, и разговаривали они долго. Не странно было то, что оба пожилые: один умирающий, другая маленькая смор-

щенная старушка в черном монашеском одеянии вдруг разговорились про свою раннюю молодость. Глаза у обоих заблестели слезами, появились тихие улыбки и даже смех.

– Помнишь, Вася, как мы боялись выйти, когда ты приехал к нам первый раз после шестилетней разлуки?

– Помню, Саша, помню.

– А помнишь...

И долго вспоминали они со стороны ничего не стоящие факты своей жизни.

Но нужно было собираться на поезд. Тетушка Анатолия, мама и другие, находившиеся в комнате, по заведенному обычаю присели перед дорогой, потом встали. Тетушка угрюмо подошла к угольнику, зажгла лампадку и, став на колени, с каким-то экстазом долго молилась. Потом встала, набрала сил, резко повернулась, глянула на брата и подошла.

– Ну, Василий Петрович, прощай! Благослови меня, ведь ты старший, – и тихо добавила: – Больше мы с тобой не увидимся, мне нельзя будет, я принимаю схиму.

Широким крестом, трижды, отец, сидя высоко в подушках, благословил сестру, та поцеловала ему руку.

– Благослови и ты меня... в последний путь. – Губы отца дрогнули.

Тетушка проворно благословила, и вдруг они припали друг к другу и заплакали неумелыми грубыми голосами.

– Дорогой ты мой Васенька!

– Саша, сестрица родная!

Им никто не мешал. В комнате все держали себя тихо и так же тихо плакали.

Наконец они отшатнулись друг от друга. Тетушка Анатолия отступила два шага назад, поклонилась ему в ноги и сказала:

– Прости меня, Василий Петрович, если в чем перед тобой согрешила.

– Бог тебя простит! Прости и ты меня, матушка Анатолия!

Они расстались... Тяжело было видеть это их последнее свидание.

В румянцевском зале сидит молодежь и читает, ожидая завтрака. Некоторые уже на террасе, но там жарко. Что-то не готово у хозяйек, и из-за этого завтрак немного задерживается.

Меня «вытащили» из дому. Нашли, что мне следует отдохнуть от той обстановки, которая создавалась в Кикино, и вот я в Румянцеве, среди дорогих мне людей, в спокойной обстановке. Тут же – вон она, сидит с «Войной и миром», – моя любимая девушка.

На террасу проходит Михаил Александрович, мой зять. О нем стоит сказать несколько слов. Герасимов Михаил Александрович, бывший офицер-кавалерист, он и сейчас носит белый китель, рейтузы и лакированные сапоги. На его добром лице со спокойными глазами внушительные усы. Он их холит, да они и стоят этого. Большие, пушистые, они переходят в подустики и пышными концами спускаются немного книзу.

Он молчалив. Его трудно вывести из терпения. Он понимает и любит молодежь и поэтому отовсюду, где он бывает, везет с собой кого-нибудь. Так вот он вытащил и меня из Кикино.

Отец многочисленного семейства, он очень любит детей. Им он предоставляет много удовольствий. Первые три мальчика настолько взрослые, что могут ездить верхом, охотиться. Но Боже избави садиться в седло с правой стороны! Он сразу багровеет и кричит:

– Слезь, слезь, сейчас же! Ты что, на корову садишься, болван?

Сам он ездит верхом безукоризненно.

Зная мои отношения к Л., которая приходится ему родной племянницей, он единственный покровительствует этому, и когда вечером мы уходим гулять в аллеи, он знает, что это до свету, и тихо говорит нам:

– Ребята, посмотрите за пастухом. Разбудите его, чтобы он не проспал.

Его просьбу мы выполняем в точности.

Поступки его не всегда практичны и предусмотрительны, отчего ему нагорает от супруги, моей родной сестры. Вот и в данный момент он неторопливо идет на террасу с садовыми ножницами подстригать виноград, который увил всю террасу.

Через некоторое время торопливо проходит хозяйка, приглашая всех завтракать.

– Михаил Александрович, побойся Бога! Посмотри, что ты наделал! Ты насорил мне и в селедку, и в окрошку. Ну неужели ты не мог сообразить? Ну просто горе мне с тобой! Нашел время обрезать виноград!

Михаил Александрович со стула смущенно оглядывает стол, видит свои промахи, как-то хрипло начинает оправдываться.

Мы наблюдаем эту картину и незаметно усмехаемся. Картина повторяется из года в год...

Один из последних вечеров в Румянцеве. На западе, после недельного складного дождя, появились малиновые проблески. Дождь иссяк. Деревья, изобильно омытые им, стояли свежими и при всяком сотрясении теряли массу крупных капель. Травы

вытянулись, укрепились, посочнели. На дорожках поблескивали чистенькие лужи. Робко в кустах орешника пробовали голоса птички.

После вечернего чая, внизу, на болоте, стоял густой туман, из-за которого в двух шагах ничего не было видно.

Я и моя высокая, худая девушка тихо брели по липовой аллее. Было сыро, прохладно, и поэтому одеты мы были основательно, в галошах. Немного тревожно и грустно поглядывали из-под по-бабьи надетого темного платка ее обычно задорные глаза.

Оба мы понимали, что наша безмятежная близость окончилась; дальше шли дни молчания, переписка; мы даже приблизительно не могли сказать времени будущей встречи. Поэтому и шли мы под руку молча.

Где-то сзади, на площадке около крокета и гигантских шагов, слышались звонкие выкрики мальчиков. Здесь же было тихо.

– Вот и окончился наш отдых. Ты поедешь в Борняки, а потом снова в Кикино. Я останусь дома, буду изредка посещать сад, кинематограф, может быть, снова приеду сюда. Буду с нетерпением ожидать известий с курсов и потихоньку готовиться к Москве.

Родная замолчала. Она отвернулась от меня и, ломая рукой соломинку, стала глядеть на туман.

– Когда же ты будешь готовиться по немецкому? – неожиданно спросила она меня.

– Что же готовиться? Я все равно ни черта не понимаю в этих разных немецких оборотах. Наверное, просыплюсь, если случай не вывезет. Да и где же готовиться? Ты знаешь, какая обстановка у нас дома...

– Знаешь что, родной? Приезжай сюда, я тебе помогу. Вот ты увидишь, как тебя подготовлю.

Так просто и скоро разрешился срок нашего следующего свидания. Мы сразу повеселели. Глаза благодарно посмотрели друг на друга. И вдруг что-то радостное и могучее волной поднялось где-то внутри. Я обнял и крепко поцеловал свою родную.

Мы уговорились, что перед отъездом в Борняки необходимо встретиться в саду. Так как лошадей обещали подать рано, то оба мы боялись проспать.

Я проснулся в 5-м часу. В комнате, где спало трое. Было душно. Но когда я отворил окно, то со двора повеяло холодом и снова захотелось предельно спать. Я оделся.

Маленький городок, где жила моя девушка, в доме которой я ночевал, еще дремотно спал. Только где-то за городом, на кладбищенской церкви, зво-

нили тенорком к утрени. Наверху заскрипели двери, послышались шаги, кто-то глухо разговаривал, потом медленно сходил по лестнице вниз. Я, как воришка, высунул голову в окно. На крыльцо важно вышла маленькая ростом, с морщинистым лицом и слегка висячими щеками служка Анна Ивановна во всем черном. На голове у ней была косынка, на плечах тальма, в руках шелковый зонтик.

В это же время над городом потекли певучие звуки колокола Казанской церкви, куда собралась бабушка. Звон был так торжественен, что, слушая его, сразу ощущал начало праздничного дня.

Прошла бабушка. Я потихоньку вышел из дому и направился на огород. Лишь только я открыл калитку, как навстречу мне ослепительными желтыми лучами хлынуло солнышко. Оно играло бриллиантовыми блестками в капельках росы на сирени. И среди этого блеска и сияния знакомым белым силуэтом стояла дожидавшаяся меня моя родная девушка.

Я остановился очарованный. О, если бы я был художником! Я запечатлел бы красками на холсте этот сверкающий миг и назвал бы свою картину «Моя любовь!» С ней не могли бы соперничать разные Мадонны старых мастеров.

Легкий ветерок трепал концы белого газового шарфа, небрежно обвившего голову. На меня глядели веселые глаза.

Я бросился навстречу силуэту, бриллианты с кустов заохлодели мои плечи, промочив ткань рубашки.

Замерла на моем плече благоухающая дорогая головка.

– А я сейчас на бабушку нарвалась! «Ты к утрени?» – спрашивает меня бабушка. Да, если добужусь Машу Маякову, – ответила я.

Бабушка погрозила пальцем, улыбнулась и пошла.

– Почему ты не едешь в Борняки?

– Мне там не нравится.

Над городком, ни на секунду не утихая, разливался звон торжествующего большого колокола. Капли росы – разноцветные лампы. Аромат цветов – фициам. А то, что было в сердцах наших, то была непередаваемая словами хвала кому-то высшему за красоту этого златотканного утра; хвала, передававшаяся разноголосыми хорами необыкновенной гармонии...

Нас вывели из очарования грохот колес по мостовой и мелодичные звонки-бубенчики... Это подали за мной лошадей, чтобы до жары приехать в Борняки. Я заглянул в глаза своей милой и сказал словами какого-то поэта:

*Я тебя, как царицу, украшу,
Я сокровищ достану тебе без конца,
Жемчугами твоей стан топяшу
И чело твоё радостным блеском венца...*

Борняки – имение в 4,5 тысячи десятин. Владельцы их – братья Шапошниковы. Один из них, старший, Андрей Андреевич (дядя Андрей), муж моей сестры Марии. Кроме него, было еще трое братьев и их мать, бабушка Анна Степановна.

Бабушка – важная, дородная особа, по виду властная, с общим тиком. Она постоянно выдумывает себе болезни, и поэтому в ее комнатах масса склянок, банок, рецептов и запахов. Любимые разговоры – про болезни. В дела она не вмешивается. Было в ней что-то от крепостного права, говорили, что она любила «рукоприкладство». Сыновья ее «уважают».

...

Вот в это имение я и катил на паре вороных в ясное утро. Катил на престольный праздник – Иванов день. В огромном крестообразно расположенном доме с центральными коридорами было прохладно и, несмотря на съезд гостей, просторно. Похоже было на гостиницу с рестораном, где каждый был предоставлен самому себе и что хотел, то и делал. Питание производилось в определенные часы.

Утрами и вечерами купались на знаменитом пруду. Днем, лежа по гамакам, читали или охотились. Впрочем, охота начиналась в точно установленный властями день – 29 июня.

Был предоставлен себе и я. То я читал запоем новые книги, не разрезанные, которых здесь было очень много. Все они ретивым Николаем были залеплены печатью.

Имение Борняки

Братьев Шапошниковых

Гжатского уезда.

Порой эта печать мешала читать, а иногда она портила хорошие рисунки. Ставилась, в общем, «с умом».

То просил оседлать лошадь и отъезжал часа на 2–3 по незнакомым окрестностям.

Вечером после купания на длинном и глубоком пруду, стоящем в лесу, с черной неподвижной водой, я любил плавать на лодке. Возьмешь, бывало, с собой огарков, прикрепшишь их к щепкам, зажжешь и пустишь по пруду. Красиво!

Дни проходили бездумно и молчаливо.

Под Иванов день съезжалось много гостей. Все старались попасть засветло и накануне. Была в Горняках одна языческая традиция – жечь костер богу Яриле.

Для этой цели целый год в определенное место свозился мусор. Привозили еще пуда 3 хвороста, и обливалось все это керосином.

Рядом строилась «дыба». Она напоминала журавель от колодца. На длинный ее конец привязывалось старое колесо, многолетне пропитанное колесной мазью.

В это время гости шумно допивали вечерний чай и собирались беспорядочно на костер. В доме стоял кавардак, крики, смех, собаки пугливо жались к стенам.

В вышине зажглись звезды. Где-то далеко, за лесом, слышались песни по деревням. Округа встречала волшебную Иванову ночь, по преданиям, полную колдовства и небылиц.

Растянувшись по дороге шли стайками гости. Молодежь пела:

*У зари, у зореньки
много ясных звезд,
А у темной ноченьки
Их не перечесть...*

Старшие говорили о делах: о скоте, покосе, о дороговизне рабочих рук и т. п.

Дамы рассуждали о воспитании ребят, о «бесстыжих» нянках, о матерях и людях. Исподтишка критиковали костюмы друг друга.

Мне пришлось идти среди молодежи. Я, недавно установившимся баском, негромко подтягивал остальных и думал, что интересного для меня, пожалуй, здесь, в Борняках, будет мало, и мне очень захотелось домой, к отцу, я почувствовал, что точно я по отношению к нему какой-то изменник.

Шли в темноте, по дороге-межняку (между межами, между двумя рядами по культурам смежными полями). Где-то далеко в поле бегали люди с фонарями. Это и был знаменитый костер. Около меня шла барышня из Г. Я плохо видел ее и скорее угадывал, что это родственница Шапошниковых, Лиза. Шли мы молча, пока она не споткнулась.

– Ой! Чуть не упала! И все из-за вас!

– Из-за меня?

– Да-да! Чтобы руку-то предложить!

– Пожалуйста!

– Вы верите в клады? Мне нянюшка Мария Николаевна (жена Владимира) сегодня рассказывала, что здесь есть Буева гора и в ней клад. И сколько за ним ни ходили, никому он не дался.

– Конечно, клады есть. Только при чем здесь чертовщина, Иванова ночь?

– Как при чем? Вот чудной! Что же, вы и в заговоры не верите?

– Нет. Я знаю, что «клады» находят и в другое время и без всякой чертовщины.

Лиза сожалеюще посмотрела на меня и вздохнула.

– Вы неживой какой-то! Неинтересный! За что вами увлекается Лиза, не знаю!

В это время мы подходили к костру, около которого сутились люди. Николай Андреевич отдавал последние приказания. Рабочий Солнцев, небольшого роста, плотный, с рыжими подстриженными усиками живой и насмешливый, обслуживающий в имении все машины, хлопотал около дыбы и отпускал шуточки.

– Давай тебя, Фаддеич, вместо колеса подыдем. Что тебе, кроме рваных порток, терять? Зато господа посмотрят, как ты сгоришь, – говорил он кому-то в темноте.

– Ты самого себя лучше, – глухо сказал кто-то.

– Я, брат, на воде не тону и на огне не горю!

– Зажигай! – раздалась команда.

Очевидно, было двенадцать часов ночи.

Где-то в темноте чиркнула спичка, робкий огонек едва притронулся к громадному черному силуэту будущего костра, и вдруг там длинным оранжевым языком вспыхнуло пламя, сильно дымя. Стало вдруг светло и весело. Можно было различить всех вокруг стоящих. Пламя быстро разрасталось, охватывало груды хвороста; становилось жарко.

Стоявшие по ту сторону костра рабочие девки запели какую-то подобающую случаю песню. Пели они визгливо, высокими голосами.

Я видел оживленно смеявшуюся Лизу. От огня ее глаза были живыми и веселыми. Хорошо, что она верит по-язычески. Так проще жить.

На ровной луговине около костра стали играть в горелки. Перепутались и гости, и рабочие. Девки визжали. Я видел, как Николай Андреевич, ловя их, позволял себе слишком много, но он был «хозяин», и девки безмолвствовали, сильно вывертываясь из его объятий.

Мне пришлось стоять в паре с Лизой. Бегал я быстро. За нами кто-то гнался, но мы бежали куда-то в темноту, и только ветерок свистел в ушах. Наконец нас никто не преследовал. Лиза, горячая от бега, упала ко мне на руки.

– Вот, не догнали нас! Какая всегда веселая бывает Иванова ночь.

Мы постояли немного, отдыхая. Лиза обмахивала маленьким белым платочком разгоряченное лицо и, теперь по привычке, взяла меня под руку, и мы вернулись к костру.

Мы видели, подходя, как зажгли колесо и подняли его на дыбе высоко вверх. Кипящая мазь падала сверху горячими каплями.

Солнцев удивлял «мир». Он набирал в рот керосина, выпускал его как из форсунки и поджигал. Пламя бушевало около его лица.

Костер догорал. Через него любители из парней стали с разбегу перепрыгивать.

Ну, чем не древняя Русь?

– Что-то вы долго не возвращались! Дело нечисто!

Лиза захохотала, прижавшись ко мне, а мне стало что-то неприятно. Я отошел от нее. По округе, то там, то здесь, далеко, горели костры. Это было обычаем в данной местности.

На следующий день, день праздника, часов в 10 утра начался парадный прием в «апартаментах» бабушки Анны Степановны. Сама она восседала на диване около круглого стола в пышном муаровом шоколадном шелковом платье. Оно трудно гнущимися складками делало ее еще более полной, представительной и важной. Ее с проседью черные волосы были гладко убраны под роскошной черной шелковой косынкой, края которой прикрывали плечи, а завязанные концы низко падали на грудь. При поворотах на груди была видна большая золотая брошь с бриллиантами. Такой же браслет врезался в толстую белую руку, на пальцах которой блестело несколько колец.

В комнатах, с открытым окном в сад, было темно-ваато от деревьев, и для «приятности» было накурено ароматной бумагой. Солидные гости приходили к ней, здоровались, смотря по степени родства, целовались, причем она подставляла щеку, и поздравляли ее с праздником. Она милостиво благодарила. Завязывался короткий разговор.

– Как ночевали сегодня? Клопы-то не беспокоили?

– Да нет. Вот комары...

– То-то! Я велела все обварить крутым кипятком с солью. Не должно их быть. А вот меня нога что-то беспокоила, – села на любимый свой конек бабушка. – Я уж ее мазью растирала два раза ночью. Афонский прописал. Такая удачная мазь! А вон московские ничего не помогают! Нынешней зимой два раза ездила, у двух разных докторов была! Один говорит одно, другой – другое, разные лекарства дали, и ни одно не помогает. Валя, дай-ка, милая, рецепты, у меня в шкатулке около кровати!

– Погода вот сегодня хорошая, – старался гость перевести разговор, – пожалуй, после праздника и косить можно, травы поспели.

– Да, покос начинать можно, – принимая большую шкатулку, набитую рецептами, машинально говорила бабушка.

Гости менялись. Одни уходили пить утренний чай и завтракать. Другим показывались ярлычки от рецептов с рассказом истории каждого.

Гости чинно выслушивали. Одеты они были в хорошие свободные костюмы. Лица были побриты, гладки, откормлены, только у некоторых от несварения желудка, от печени – последствия излишеств – были морщины и цвет лиц был желтоват. Дамы по большей части были полны, в пышных шелковых платьях, украшенные золотом и бриллиантами, надушенные.

В столовой весело было от солнышка и прохладно от открытых окон. Зайчики блестели на чистой посуде. За одним столом закусывали сыром, колбасами, маринадами, маслом и свежими пирожками, на другом пили чай или кофе с густыми сливками, вареньями и сдобным хлебом.

Скорбные дни настали у нас дома. Даже я теперь, всегда оптимистически настроенный, видел, что папа таял.

Однажды мне пришлось ему делать перевязку, и сердце мое сжалось от вида открытого рака и от стона папы во время перевязки, а я производил ее очень осторожно.

Однажды он позвал меня к себе.

– Мишутка, придется тебе самому заняться покосом в Сергейкове. Возьмешь с собой селедок, баранок, водки для угощения, и деньгами мама даст. Смотри по погоде, сколько косить, и сырое не убирай. Соли возьми притрухнуть сено: скотина лучше ест и мышь не точит. Старое сено к одному боку. Посмотри, не нужно ли переменить хворост на настил под сено. Ну, ступай с Богом!

Видно, что он очень устал от такой длинной для него теперь речи. Если бы он знал мои чувства к нему в это время. Я горел старанием сделать все как можно лучше, тщательней, так, как он любит. Я знал, что это ему было бы приятно.

Неделю я пробыл безвыездно в Сергейкове. Погода задалась. Травы было много, косили во время. Никаких инцидентов у меня с убирающими не было. Целый сарай и верх конюшни заколотили сеном. Это намного больше было, чем в прошлом году.

Я ехал домой на дрожжах загорелый, нетерпеливый. Мне хотелось порадовать папу, я даже клок сена вез ему показать. Пусть бы он понюхал аромат его, посмотрел, какое оно зеленое!

Вот и дом. Лошадь я оставил на дворе, ее распрягали без меня, а сам полетел к отцу.

Обо все ему дал подробный отчет. Дал ему и сено. Он понюхал и досадливо бросил его от себя, отвалившись на подушках к стене.

– Ступай. Молодчина.

Я вышел от него. Я понял, что ему неприятно было всякое проявление жизни, да еще такой, какую он любил. Он знал, что умирает, и не хотел никаких компромиссов.

В саду, в палисаднике, я долго утирал слезы. Я жалел его.

Снова потекли тусклые дни в Кикино. Наверху угасал папа... Об этом знали все в доме, и это обстоятельство искренне налагало на всех печать уныния. Поэтому не слышалось ни смеха, ни песен, ни граммофона.

Для меня, любителя музыки, единственным развлечением были спевки церковного хора, который в это лето не распадался и сопровождал каждую обедню. Мы старались разучить всегда что-нибудь нотное, и души наши, овеянные гармонией Архангельского, Чайковского и других, сладко ныли после спевков.

По-прежнему я любил утро. Я просыпался сравнительно рано, в 7-м часу, и шел на свое любимое местечко к пруду, около палисадника.

Небо безоблачно. Солнце где-то за крышами. От пруда освежающе тянет сыростью тины, под которой шелестят караси. Где-то на дворе кудахчут вразброд куры. На селе тихо.

В этой тишине, на лавочке, скрытой в богатой зелени, я любил читать, думать про свое, а то и просто молчать и глядеть кругом на природу. Это было неизъяснимое удовольствие, умиротворяющее действовавшее на нервную систему, отодвигавшее все текущие жгучие вопросы далеко. Сколько раз я писал отсюда к своему другу письма! Сколько я прочел здесь книг, сколько над некоторыми из них думал, склонив голову на руки. Я любил эти утра. Я бессознательно рос духовно, и много хорошего и плохого передумалось за это время.

По каким-то признакам, неизвестным для нас, доктор сообщил однажды, что папе вдруг стало значительно хуже, и он дал намек, что может быть близка и развязка. Некоторые из нас отнеслись к этому с насмешкой, так как, по наблюдениям, отец вроде повеселел за последнее время. Как бы ни было, все мы, хотя и знали обо всем, все же были подавлены этим сообщением, неизбежностью ужасного конца.

Мама, как христианка, по-своему восприняла это. Ей казалось, что долг ее был в том, чтобы не пустить по ту сторону грешную душу, и поэтому она стала уговаривать папу пособороваться, поговеть и причаститься.

Я не знаю, какие доводы она ему приводила, только в конце концов, слушая ее, он, как-то помerkнув, сказал ей:

— Ну, ладно. Только пусть на соборовании никого не будет. И вообще, не надо людей...

И повернулся лицом к стене, тяжело вздохнул.

Желание его было исполнено. Когда отец Иосиф — его духовник выходил от него в зал, то вдруг — и это было странно видеть — расплакался и в экстазе произнес:

— Вот истинный христианин! За всю свою жизнь встречаю первого!

О чем они беседовали, для всех осталось тайной.

Мама готовилась к другому шагу: она хотела, чтобы отец перед смертью благословил всех, и этим наводила на всех нас гнетущий ужас. Я наблюдал за ней. Это была в то время какая-то фанатичка!

Кой-где в лесу появились желтые пряди, предвестники осени. Заморозков еще не было, но ясные утра были с холодной обильной росой. Поля пустыли. Стояли последние дни июля.

В это время вдруг из Румянцево прислали за мной, чтобы там я мог подготовиться к висевшей на носу переэкзаменовке по немецкому языку.

Для меня это было важно, от этого зависел мой переход в 8-й класс.

Я поехал. Молодость эгоистична. Дорогой я отвлекся от домашних ужасов и с замиранием сердца думал о встрече со своей родной девушкой.

Рука об руку с ней мы пойдем по жизненной дороге, думалось мне. Она поможет мне пережить потерю отца. Она поможет мне окончить гимназию. За ее теперешнюю поддержку и я ей отплачу всем, чем смогу. Вот она — духовная близость.

И глаза мои, загоревшись надеждой, смотрели куда-то в будущее через овраги и перелески, которыми мы ехали. Если я старался до сих пор не думать о таких горьких неприятностях, как смерть папы, как переэкзаменовка по немецкому, то теперь я взглянул правде в глаза и как-то не испугался, не растерялся. За этими ужасами я видел дорогую руку поддержки.

С этого мои думы переключились на другое.

Вот не будет папы. Я уже большой теперь. На мне будет часть заботы о семье, о маме. Надо бросать, в самом деле, свои детские бредни и за всякое дело приниматься по-взрослому. Во-первых, надо во что бы то ни стало кончить гимназию.

Вспомнилась казенная гимназия с вереницей товарищей и учителей. Вспомнились бесконечно скучные, похожие один на другой уроки. Я беспомощно противопоставил им себя, и мне снова на время показалось, что гимназия добьет меня, и на этот раз совсем.

Совсем и скоро! На носу переэкзаменовка, а что я сделал? Правда, я выучил слова, знаю переводы

статей. Но самого главного, грамматики и синтаксиса, я не понимаю, хоть убей! Господи, что же мне делать? Ведь если я не выдержу переэкзаменовки, то вон из гимназии... Прощай всякие мечты о специальном техническом образовании, прощай все многолетние труды... Что же мне делать тогда?..

И приуныл я крепко. Ломалась моя вся жизнь, и я не знал, в какую сторону. Впереди была пугающая неизвестность.

Когда я, насупившись, думал о своей доле, не заметил, что приехали в Румянцево, едем прогоном, скоро и дом. Я вдруг, как видение, увидел свою девушку с большим букетом последних полевых цветов, окруженную ребятишками.

– Лидусенька!

– Миша, родной!..

Жаркий июльский день. Неподвижны в голубом небе белые кипы облаков. На опушке чистой березовой роши, недалеко от дома, в густой траве прохладно и легко дышится. Глаза наталкиваются то на фиолетовые колокольчики, то на желтую куриную слепоту.

Мы только что окончили занятия по немецкому. Я не успел еще закрыть книгу и сижу около своей девушки слегка взволнованный. Мне радостно и приятно, что я понемногу начал разбираться в том, что никак мог постигнуть в гимназии. Как и всегда, материал кажется теперь простым.

– Я не понимаю одного, – смотря на меня серьезно, говорит моя девушка, – как ты, с такими способностями, ухитрился получить переэкзаменовку, в то время как легко ты, понимаешь, легко, мог бы учиться на четверки, по крайней мере?

– Это надо приписать все исключительно твоему умению истолковывать правила. Я вот только теперь начинаю все постигать, и оказывается, что это все не так трудно. А как же может внятно сообщить правило человек, плохо владеющий русским языком.

– Нет, ты просто лентяй!

Я закуриваю. Синий дымок долго не расходится в неподвижном воздухе.

– На меня такое находит, – задумчиво говорю я. – Когда меня начали обучать грамоте, то я очень туго шел. Никак я не мог понять механики получения слов из букв. Сколько раз я из-за этого плакал, не хотел идти в церковно-приходскую школу, так как нас за это (не всех, конечно) ставили на колени на горох. Стоял около печки мешок с горохом. На него и нужно было становиться. А потом приехала к нам учительница Александра Васильевна Бельская, и я моментально научился читать. Тоже, наверное, обладала талантом объяснять.

– Ты мне ничего не рассказывал про свое детство. Расскажи.

Я лег ничком, положил на ладони лицо и, наблюдая за какой-то букашкой, думал, о чем рассказать.

– Детство мое мне представляется очень уютным. И когда бы это ни было: летом, зимой, когда я был здоров или когда болел, – все равно, вспоминается уют, тепло, забота о тебе. Сейчас я задумался было рассказать, и как-то невольно представилась такая картина. Зима. На воле трескучий мороз. Окна разрисованы широкими узорами. В спальне тепло. Она в полумраке; еле освещена розовой лампадкой. В комнате никого нет, кроме низенькой старой няни, которая неспешно что-то убирает и глуховатым баском что-то говорит. Слышно, как звонят к утрени. До рассвета еще долго. Я сижу на теплой лежанке и, подсунув колени под рубашонку, борюсь со сном. Около меня лифчик, чулки, штанишки, рубашка, но так не хочется просыпаться, так сладко дремлетесь...

По-видимому, это было в праздник, так как родители уже ушли.

Или вот еще.

Я хвораю. У меня жар. По всей вероятности – инфлюэнца. Я лежу наверху на диване около ширмы, обитой мышинного цвета бархатом. На ней какой-то рисунок, отдаленно напоминающий сплетенные хоботы слонов. Няня ушла мне за чаем. Около горит лампа. Мне видна анфилада комнат: полуосвещенная гостиная и совсем черный зал. В голове что-то звенит, мне немного страшновато, и я напряженно слушаю все звуки. Слушаю, скоро ли заскрипят ступени лестницы в коридоре под нянинными шагами, несущей мне чай.

Жар велик, я еле улавливаю свое сознание, которое вот-вот заволакивается бредом.

И вдруг я холодею. Мне кажется, что из темного зала выйдет сейчас слон, он будет расти в своих размерах, пока не заполнит всю комнату, не начнет душить меня.

Ужас наполняет меня. Я обливаюсь потом и пронзительно, как мне кажется, кричу:

– Ня-ня!

Моя родная, покусывая какую-то травку, внимательно слушает меня, ласково глядя на меня. Увлеченный мыслями воспоминаниями, я сел и забыл, где я нахожусь; так ярко переживаемые картины.

– Или вот еще. Утро. Мама, полуодетая, стоит на коленях у комода и молится. Я проснулся и наблюдаю за ней. И вдруг... я обнаруживаю сзади... хвост. Да, хвост! Длинной около четверти. Это

было так неожиданно, что я моментально сел и... Что делать? Ужас! Я несколько раз ошупывал его руку. Хвост... Хочется кричать от ужаса. Молниеносно возникает решение: отрезать его!

– Мама! Дай ножницы. – Голос у меня хриплый от испуга и нервный.

Мама уже помолилась и, подошедши к комоду, взяла ножницы.

– Зачем тебе?

Что ей сказать? Соврать? И я глухо, против своей воли, говорю ей:

– У меня вырос хвост!

– Что?

– Хвост у меня вырос! – говорю я со слезами.

– Покажи-ка! Господи! Час от часу не легче!

Я становлюсь к ней задом. Мама быстро что-то взяла, и мой хвост стал вытягиваться. А когда я рукой тронул, то хвоста не было. В руках у мамы тряпка, а в ней большой глист.

Как же я был рад тогда!

Мы оба хохочем.

В это время над имением певуче проносится звук охотничьего рога. Это сигнал к обеду. Представился коренастый племян Шурка на крыльце с надутыми щеками, посылающий в молчаливое пространство эти певучие звуки.

Мы поднялись. Я взял книги. Моя девушка, отряхнув себя, бодро пошла впереди слегка раскачивающейся походкой.

Так проходили дни. Однажды за вечерним чаем была получена тревожная телефонограмма из дома, что папе стало хуже.

На семейном совете решили, что завтра, чуть свет, надо ехать туда.

Я притих. Грустными глазами мой друг следила за мной и всячески старалась оказать мне свою поддержку.

Около часу ночи пришла вторая телефонограмма, что папа умер...

Я ушел в кабинет и в темноте боролся со слезами. Я знал, что это неизбежно, но... Не укладывалось в голове, что нет сурового на вид папы, так любившего меня.

Мне вдруг стало стыдно, что я сбежал от него. Умышленно сбежал, оберегая себя.

Прижавшись к подушке, я вдруг заплакал. Я в этот момент так горячо просил у него, мертвого, за все, что я когда-либо при его жизни сделал (ему разве – себе!). С другой стороны, и я ему все простил! А чем он меня обижал? И я не знал, что ответить на этот вопрос. Думалось горько: «Папа, милый, зачем ты всех нас оставил? Зачем?»

Тоской сжималось сердце, и неудержимо текли слезы.

На мою голову нежно легла ласковая рука. То моя родная пришла разделить со мной мое горе.

Она села рядом и, слегка вздрагивая, стала гладить мою руку.

А потом шепотом заговорила:

– Однажды, это было два года тому назад, мы встретились здесь. Может быть, твой папа догадывался, что ты тогда начинал ухаживать за мной, и вот, я помню, мы вдвоем сидели на парадном. Ты играл во что-то. Он глядел на вас, а я около него читала:

– Мишутка у нас хороший! – сказал он вдруг, оборачиваясь ко мне, и мне стало и приятно, и стыдно.

После слез, немного успокоившись, я глубоко прерывисто вздыхал. Где-то в груди была давящая тяжесть и ужас перед грядущим днем. Лучше бы ничего этого не знать и не видеть!

За день до своей смерти, чувствуя слабость и угасание сил, Василий Петрович согласился на доводы своей жены благословить всех.

Были сняты иконы. Каждого из своих детей, по очереди, становившегося перед ним на колени, он благословлял иконой и говорил слабым голосом несколько напутственных дорогих слов.

Трудно было каждому выдержать это благословление. Текли неумные слезы. Дрожа, целовали родную, благословлявшую, иссохшую за болезнь и такую знакомую руку. Рыданиям и слезам давали волю там, за дверями.

– А Мишутки-то нет? – спросил он, заводя глаза, блестящие от слез, на стоявшую у изголовья онемевшую в своем горе жену.

– Он в Румянцеве. Хотел сегодня или завтра приехать.

– Пусть уж он там. Не надо. Скажи ему, Настя, что я благословляю его Николаем Чудотворцем, скажем ему, что с этой иконкой я вышел из отцовского дома, с ней прожил всю жизнь счастливо. Его теперь ею благословляю. Пусть учится...

Василий Петрович устал. Закрыв глаза и замолчал. Изредка катились скупые слезы. Знал ли он, что это было прощание навсегда со всей семьей, которую он так любил и так пестовал...

К вечеру 20 августа по старому стилю 1912 года ему стало хуже. То наступал момент возбуждения, то силы покидали его и пульс исчезал. Вызванный доктор сообщил, что силы его иссякли и начинается агония.

Стали ходить на цыпочках. Кругом была тишина. За окнами в темноте шел дождь. Горела лампа, а в углу около икон – лампы и восковая пригитовленного и раскрытого псалтыря.

Около одиннадцати часов вечера он пришел в себя, окинул взглядом комнату и знаком подозвал к себе маму.

Та подошла.

– Плохо мне. Умираю я...

– Бог милостив, Василий Петрович! Молись ему, милостивому, на иконы.

Отец перевел глаза, и в них забились какая-то живая мысль, но не надолго. Снова они потухли, и голова его склонилась на грудь.

Мама стояла все время около него. Вот он снова открыл медленным движением глаза, слабо взял мамину руку, слабо сжал ее и прошептал:

– Прощай, мой друг! Давай... простимся.

Мама наклонилась, и он поцеловал ее, пристально вглядываясь в лицо, обняв другой рукой за шею. Рука бессильно соскользнула. Мама выпрямилась. Он опять затих. Через некоторое время зашевелилась правая рука. Кисть с трудом приготовилась к крестному знаменю. Медленно поползла рука по одеялу к лицу. Вот он сотворил его и прошептал:

– Боже! Милостив буди ко мне, гре... – не договорил и, испустив последний вздох, вытянулся.

Мама безмолвно, теряя горячие слезы, стояла рядом, сжимая холодеющую руку своего мужа, отошедшего от этой жизни, от нее, от всего навсегда.

За окном монотонно по стеклам стучали дождевые капли. У угольника перед псалтырем стоял кто-то, и оттуда неслись спотыкающиеся слова народной мудрости прошлого: «Господи, перед тобою все желание мое, и воздыхание мое от тебя не утаится. Сердце мое смятется, остави мя сила моя, и свет очию моею, и той несть со мной...»

В 11 часов 30 минут вечера 2 августа 1912 года не стало Василия Петровича.

Отягченный страданиями последних двух лет, он ушел на 72-м году жизни, устав бороться за свое счастье, за счастье своих ближних.

Ушел мудрый, справедливый, жалостливый к другим, к чужому горю, всегда горя желанием помочь этому горю незаметно...

Когда я увидел его в первый раз мертвым на столе в зале, я бросился к нему с рыданием на колени. Меня подняла мама.

Она гладила меня по голове, как маленького, и приговаривала дрожащим и каким-то угасшим голосом:

– Не плачь! Успокойся! Ему теперь хорошо! Он больше не страдает!

Я крепко обнял маму. Не хотел ли я в этом объятии передать, что я никогда, никому без него не дам в обиду маму.

Я чувствовал, что для нее значило потерять папу, с которым она прожила столько безмятежных, согласных лет. Я поцеловал ее и только тут заметил, что она во всем черном, сразу какая-то осунувшаяся, морщинистая и ставшая меньше ростом, потому что безысходное горе согнуло ее.

Мы вдвоем подошли поближе к его лицу. Никому не дала мама убрать своего старичка в последний путь. Сама подстригла ему, как он любил, седую бородку, усы. Сама завязала ему его любимый галстук. Сама надела заслуженные им серебряные медали на шею. И он выглядел помолодевшим, молодцеватым, каким я видел иногда за церковным ящиком.

В зал то приходили, то уходили. Было много посторонних. Горели в подсвечниках из церкви свечи. Благоухали поставленные в изголовье цветы.

Весь день была тупая головная боль. Мне ничего не хотелось делать, ничего не интересовало. Я часто подходил к нему, но какая-то болезненная спазма сдавливала горло, и я снова уходил.

В пять часов вечера стал собираться народ на панихиду. Зал заполнился. Пришли священники. Пришел с хором мой приятель Ал. Мих.

Говорили кругом шепотом. Раздали свечи. Принесли мелодично позванивающее кадило. В зале поплыли сизые волны ладана.

Я ушел из зала в столовую и стал с зажженной свечой к окну.

А оттуда тихими минорными аккордами понеслись песнопения. Кто-то навзрыд заплакал. Кто-то стали уговаривать.

«Молитву пролию ко Господу и тому возведу печали моя...»

Мне вспомнился вдруг «Иоанн Дамаскин» Ал. К. Толстого.

*Какая сладость в жизни сей
Земной печали непримечательна?
Чье ожиданье не напрасно,
И где счастливый меж людей?
Все то превратно, все ничтожно,
Что мы с трудом приобрели –
Какая слава на земли
Стоит тверда и непреложна?
Все пепел, призрак, тень и дым,
Исчезнет все, как вихорь пыльный,
И перед смертью мы стоим
И безоружны и бессильны.*

*Рука мозгучего слаба,
Ничтожны царские веренья –
Прими усопшего раба!
Господь, в блаженные селенья!
Средь груди тлеющих костей
Кто царь, кто раб, судья иль воин?
Кто царства Божия достоин?
И кто отверженный злодей?
О братья! Где серебро и золото,
Где сонмы многие рабов?
Среди неведомых гробов
Кто есть убогий, кто богатый?
Все пепел, дым, и пыль, и прах,
Все призрак, тень и привиденье –
Лишь у тебя, на небесах,
Господь, и пристань и спасенье!
Исчезнет все, что было плоть,
Величье наше будет тленье –
Прими усопшего, Господь,
В твои блаженные селенья!..*

Я вспомнил это произведение, и его глубокий смысл, облеченный в художественную форму, для меня был потрясающ. Я как-то сразу успокоился, замкнулся в себе, и слезы мои иссыкли. Я видел кругом горе, которое было и моим горем, но... плакать я больше не мог. Точно сразу я вырос на несколько лет и познал то, что раньше не знал.

Хоронили отца на Преображенье при большом стечении народа. Когда его выносили из дому, мама, которую я вел под руку, вдруг грубо зарыдала и сказала:

– Куда же ты уходишь-то, хозяин мой дорогой?
Я ж не справлюсь одна без тебя...

Через три дня после похорон папы шел я по хорошо знакомому гимназическому коридору с одним из своих товарищей. У меня на рукаве была повязка из черного креста.

Навстречу нам приближалась широкоплечая фигура в форме с серебряной бородой лопатой. Это был наш инспектор Зенон Максимович Милькович (из чехов). Он преподавал и географию, и немецкий, и латинский, и историю. Как у всякого человека, так и у него были свои странности. Все же это был чрезвычайно отзывчивый на горе человек, не терпевший лжи.

Когда-то, на заре своей гимназической жизни, я и брат были у него на квартире. Он знал моего отца и очень уважал его.

Увидев меня с траурной повязкой, он остановился и спросил серьезно:

– Но отчего-то у него траурная повязка?
– Папа умер, Зенон Максимович.

– Василий Петрович? – громко ахнул он, как будто у меня мог быть еще другой отец.

Он круто повернулся и пошел от нас.

Через час я держал переэкзаменовку по немецкому. Я очень волновался, так как по существу «на бочку» ставилась вся моя жизнь. Но я вспомнил своего друга, ее объяснения, и мне мой билет показался не трудным. Я довольно толково, как мне показалось, разобрался в нем.

В числе ассистентов был и Милькович. Когда я готовился, он что-то долго говорил нашему «немцу», показывая на меня глазами.

С волнением я отвечал, сбивался и когда особенно заволновался и почувствовал, что тону, в этот самый момент Милькович авторитетно сказал:

– Но довольно с него, идите.

Это, конечно, было моим спасением. Результаты будут объявлены после совета.

В этот же день я решил уехать к своей девушке. У меня было отвратительное настроение. Тянуло домой. Я знал, что там одна мама, что теперь все домашние часто ходят на могилку к папе и оказывают ей всяческое внимание.

Во мне свершался, очевидно, какой-то перелом. Мне нужно было стать взрослым и по-взрослому относиться ко всему окружающему. А кто, как не мой друг, может оказать мне в этом поддержку. Дома же мне надо сразу быть взрослым.

Наступал после дней непогоды ясный теплый вечер. Все золотилось в лучах заходящего солнца. Мы стояли у ворот ее дома, нам было в этот момент так бездумно, все огорчения были позади.

На нас наступала жизнь, знакомая нам больше по книгам, но мы были вдвоем и не боялись этого. Мы юношески смело смотрели вперед, готовые оказать любую поддержку друг другу.

Мне показалось, что это впервые почувствовали все окружающие и по-новому взглянули на нас, точно сразу выросли в их глазах.

Через несколько дней я узнал, что переэкзаменовку я выдержал. Меня перевели в восьмой класс.

Впереди был год, после которого я получал неограниченную свободу. Нужно было все свои силы собрать, чтобы преодолеть его и вырвать эту свободу.

Я был в восьмом классе!

Москва – Ялта – Москва, 1937–1939 годы

